Дмитрий Быков
ЭВАКУАТОР

Дмитрий Львович Быков
Эвакуатор

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=133250
Эвакуатор: Вагриус; М.; 2005
ISBN 5-475-00099-9

Аннотация

Действие нового романа Дмитрия Быкова происходит в Москве, где редкий день обходится без взрывов террористов. И посреди этого кошмара вспыхивает любовь. Она – обыкновенная москвичка, он – инопланетянин, который берется вывезти любимую и ее близких на свою далекую и прекрасную планету. Но у красивой истории оказывается неожиданный конец…

Содержание

1. 4
2. 14
3. 28
4. 44
Конец ознакомительного фрагмента. 46

Дмитрий Быков
Эвакуатор

И р к е

Соленый морской ветер нес золу и пепел нам в лицо.
Дафна Дюморье,
«Ребекка».

Пришли и сказали (дитя, мне страшно), пришли и сказали, что он уходит.
Зажгла я лампу (дитя, мне страшно), зажгла я лампу и пошла к нему.
У первой двери (дитя, мне страшно), у первой двери пламя задрожало.
У второй двери (дитя, мне страшно), у второй двери пламя заговорило.
У третьей двери (дитя, мне страшно), у третьей двери пламя умерло.
А если он возвратится, что мне ему сказать?
Скажи, что я и до смерти его продолжала ждать.
Метерлинк, «Двенадцать песен».

Кто вышел, кто пришел, кто рассказывает, кто умер?
Лев Толстой.

1.

– И потом, – сказал Игорь, – у нас живые деньги.

– В смысле большие?

– Да нет. – Он поморщился. – У кого как. Но у нас зависит реально от того, какой человек. У вас плохой человек мочь иметь много, много. У нас быть не так. У нас человек отличный, хороший, мочь иметь практически бесконечно, а дурной, злобна морда, лишаться последнее. Это быть так устроено. Такие быть зверьки. Сам мелкий, коричневый, шкурный-шкурный. Нос розовый, мягкий. Рот такой, с язык внутри. Такой весь как бы плюшевый. Ты его получать за своя работа. И если ты его холить, лелеять, учесывать шкурка, то он расти, расти, размножаться. Он размножаться сам, от хорошее отношение. Но если ты забывать про зверек, не учесывать зверек, не гладить, не кормить, не менять подстилка, то он чахнуть, сохнуть, дохнуть и умирать. И ты уже не мочь поменять его на еда, пища. Тогда просить взаймы один-другой зверек, но не все давать. Очень удобно.

– Причем сбербанк называется звербанк.

– Банк есть, да. Но обычно хозяин уже привязаться к свой зверек, расставаться крайне неохотно. И зверек, если хозяин хороший, не хотеть уходить. Он приводить еще, еще. Тогда быть много, много зверек. Некоторые, конечно, все равно надо менять на продукты, одежда… Но это редко. На один зверек можно месяц кормить большая семья. И если их

хорошо ухаживать, они никогда не умирать практически. Жить долго, много долго, как долгожитель с бывший Кавказ.

– А бывать случаи, когда нерадивый зверьковладелец сосать лапа, умирать голод, дохнуть? – спросила Катька.

– Так не мочь быть, – покачал головой Игорь. – Быть гуманность, дорожить каждый член общества. Ему говорить: ты понимать теперь, как чувствовать себя недокормленный зверек? Он кивать: да, да, плакать, каяться. Тогда ему давать сразу много харлаш, много камбас, дурык, иногда бараласкун. Он поглощать, благодарить, начинать новая жизнь. Приговаривать: уж зверек ты мой зверек, уж я тебя так и сяк.

– Бараласкун – это местная выпивка?

– Да, будем считать, что типа того. Ну, не сильная, не водка, – а вроде, допустим, бодрящего вина. Я лично очень люблю дурык.

– От него делаешься дурык?

– Дурык никогда не делаешься. Дурык либо родишься, и тогда уже ничто не поможет, либо нет, и тогда тебе ничто не угрожает. Ты дурык, но у тебя интерфейс симпатичный. У нас там тоже, как у вас: если женщина дурык, но хороша собой, – ей многое прощается. У нее всегда зверьков полны клетки, бараласкун в постель каждое утро, харлаш по праздникам. Счет дайте, пожалуйста.

– У тебя хватит? – спросила Катька.

– Если не хватит, я ей дам зверька. Но вообще надо как-то менять дислокацию. Они тут так стали драть, что я на тебе разорюсь. У нас женщина всегда платит за мужчину. Потому что если наоборот, он будет думать, что теперь имеет на нее право. У нас все тонко продумано. Я не хочу сказать, что у нас идеальный мир. Это было бы анкурлык, невежливо. Но все-таки у нас думают о людях, а у вас только выделываются друг перед другом. Если бы не ты, я бы уже с ума сошел.

– Спасибо, – сказала Катька. – Это вежливо, курлык. Типа пошли?

– Типа пошли, – он оставил полтинник на чай и с трудом вылез из-за крошечного столика. В китайском «Драконе» было особенно заметно, какой Игорь большой. Тут все было маленькое, – порции, чашечки, кружечки, официанточки: все, кроме цен.

– Ну, ты ползти домой? – Он никогда ее не провожал, Катька на этом настаивала – наш муж иногда выходил встречать Катьку, и нам совершенно не было нужно, чтобы наш муж знакомился с наш Игорь.

– Да, я, вероятно, ползти. А ты лететь свой идеальный мир?

– Да, да, я улетать и жестоко тосковать. Вспоминать гордая земная женщина, небольшая, но душевная. Полетели когда-нибудь ко мне, честное слово. Я тебе покажу, как там все у нас.

– Это, знаешь, у нас тут на Земля, во времена моя далекая и прекрасная молодость, бывали иногда студенческие каникулы.

– Каникулы? Что это – каникулы?

– Ну, это типа вашего бурундук, но короче, – сымпровизировала она, и он, как всегда, мгновенно подхватил:

– Бурундук – это столовый прибор. Отпуск называется «бырындык». Во всех словах с позитивной модальностью присутствует «ы». Ты, мы, курлык.

– Ну вот, у нас тут были кыныкылы, – сказала Катька. – И я ездила в пансионат под Москву, с дывчонками. И если какой-нибудь пырень звал к себе в кымнату, то он говорил дывушке: «Пойдем посмотрим, как я живу». Это был такой ывфимизм. Некоторым девушкам так нравились эти комнаты, что они потом часто ходили их смотреть. Тогда образовывался бесхозный мальчик, напарник этого счастливца. Комнаты были на двоих только. Ино-

гда мальчика кто-нибудь приючивал, а иногда он спал в танцзале под роялем. Ты тоже мне хочешь показать, как живешь?

– Очень хочу, – серьезно сказал Игорь. – Вот как увидел, так захотел показать. Я живу один, без напарного мальчика. Я живу не сказать чтобы очень хорошо, но стараюсь. Наверное, я все-таки живу лучше, чем эти ваши студенты.

– Да, наши тогдашние студенты совершенно не умели жить.

– И часто ты ходила смотреть комнаты?

– Моим первым мужчиной был однокурсник, мне было семнадцать лет, – сказала Катька.

– За что я тебя люблю, мать, так это за чистоту, простоту и прямоту. А кто был твоим вторым мужчиной?

– Ты будешь шестой, – честно сказал она. – И то я еще подумаю.

– То есть возможно, что я буду восьмой? Ты хочешь передо мной еще потренироваться на ком-то?

– Нет, что ты будешь шестой – это я тебе твердо обещаю. Но это будет не завтра, не послезавтра, вообще нескоро. Все очень сырьезно, очень.

– Я так тебя лыблю, Кать, – сказал Игорь. – Мне даже страшно будет тебе показывать, как я живу. Я вообще боюсь тебя как-нибудь уязвить, испортить…

– Слушай, мне категорически пора.

– А, да-да. Все уже с ума сходят. Меня-то никто не ждет.

– Игорь, бить на жалость у нас считается анкурлык.

– У вас все нормальные человеческие проявления считаются анкурлык, – сказал Игорь, поймал ей машину и уехал к себе в Свиблово, далекое, как альфа Козерога. Вылезая из машины и заходя в подъезд, Катька на всякий случай нашла альфу Козерога, как он учил. Приятно было думать, что Игорь там. Вот он вошел, голосом открыл дверь, привычно поприветствовал электричество, чтобы оно зажглось, легким усилием воли переоделся в халат, уселся за стол, включил компьютер, – а к его ногам радостно побежали живые деньги, стали тереться, прося вкуснятины. Игорь, вероятно, чертыхнулся, как всегда, когда его отвлекали, но в глубине души был доволен: когда живое существо нас поджидает и от нас зависит, это всегда большая радость. Ну, положим, не всегда, подумала она, открывая дверь вечно заедающим ключом.

Трудней всего оказалось научиться переключениям – буквально, с физической осязаемостью переводить какой-то внутренний рычажок в положение «выкл», и Катька даже представляла этот рычажок – черный, пластмассовый. Не сказать, чтобы таким образом она выключала внутренний свет: она переводила его в другой регистр. Первая антипатия к нашему мужу и даже, страшно сказать, к Подуше сразу проходила, как только Катька попадала в свою двухкомнатную жизнь, невыносимую, конечно, но и родную. Тут все было другое – «наша Родина, сынок», – и требовались другие вещи, и она сама удивлялась, сколько у нее в голове, оказывается, живет народу – каждый активизируется, когда востребован, а в остальное время спит мертвым сном или по крайней мере исчезает из поля зрения. Возможно, он даже что-то делает, пока мы за ним не следим, и именно этим определяется настроение. Та Катька, которая была с Игорем, дома безутешно рыдала, но помалкивала. Если она подавала голос, ее тут же приходилось затыкать. Ее все бесило – манера мужа оставлять тарелки в раковине (мыть посуду – не наше дело!), свекровь, забредшая в гости (она жила неподалеку и навещала их раза два в неделю, выходной, не выходной), вечно включенный телевизор, до сих пор не уложенный ребенок и даже нянька ребенка, которой, между прочим, платили доллар в час – и она торчала до восьми, а то и до девяти вечера: «Она без вас не засыпает!». Не засыпает – ну так скинь ее на мужа и ступай, но ведь и муж наш чаще всего вдавливается в логово только после десяти, и он в своем праве, ибо в своей

турконторе зарабатывает больше нас. Ему надо расслабляться, он страшно напрягается. Это мы не имеем права явиться после девяти и при всяком опоздании бываем подозрительно расспрашиваемы: с кем это мы, что мы… Наша жизнь определена широким кругом мелких обязанностей, тогда как единственная, но суперважная обязанность нашего мужа – зарабатывать деньги, мы копим на трехкомнатную, и больше с нас при всем желании ничего не спросишь. Ведь сами мы приносим в дом от силы шестьсот, хорошо, если семьсот баксов, с левыми заказами иногда набежит у нас штука, вот и теперь нас еще ждет оформление брошюры «Если ты заложник», просили повеселей.

Игорь был единственным на новой работе, с кем можно было разговаривать. Если не считать подруги Лиды, но ее Катька знала не первый год, вместе учились и посильно помогали друг другу с заказами. «Офис» был отвратительным местом, если честно, – но только наедине с Игорем Катька могла себе в этом признаться. Его делали для несуществующей прослойки успешных и состоявшихся людей от 25 до 40 (сначала, она помнила, было до 35: верхняя граница оптимального читательского возраста отодвигалась по мере старения идеологов такого рода проектов; идеологи – главным образом из бывших коммерсантовцев – вот уже десять лет все еще надеялись где-то набрать тридцать тысяч состоявшихся людей, желавших читать журналы). «Офис» печатал исторические очерки о сигарах, написанные безработным историком; обзоры выставок, сочиненные безработным искусствоведом; справки о нобелевских лауреатах, скомпилированные безработным физиком; но в основном там появлялись статьи в которых Катька не понимала ни единого слова и потому иллюстрировала их яркими абстрактными композициями. Там было что-то о деловой этике. Она поняла только одну статью – об организации корпоративных вечеринок: оказывается, чтобы дать сотрудникам надлежащую мотивацию, необходимо было регулярно проводить День Босса. Босса Катька нарисовала с такой мерой ненависти, что испытала колоссальное облегчение, – и это был единственный день, когда работа в «Офисе» была ей в радость.

Игорь, слава Богу, не имел отношения к содержательной части журнала. Он чинил и настраивал компьютеры. «Вешайтесь, доктор, аллес, – говорил он любому, кто приходил с заявкой. – Устройство вошло в плотные слои атмосферы», – после чего быстро и легко устранял любую неисправность. Катька особенно любила его за эту легкость. Она любила его за то, что он до такой степени не отсюда. Она любила его, потому что он читал все ее мысли, прежде чем она успевала додумать их до конца.

Во время работы активизировалась другая Катька – эта была самой хладнокровной, резкой и изобретательной; если бы можно было ее как-то мобилизовать для общения с домашними – жизнь стала бы много привлекательней, но бодливой корове Бог рог не дает. Дело, вероятно, было в том, что в любом графическом редакторе она ориентировалась лучше, чем в собственной жизни, – и это очень справедливо, потому что даже в тараканьей черт ногу сломит, а вы хотите, чтобы я понимала человеческую. Поистине мир устроен не так. Репродуктивную способность я давала бы лет с сорока, сорока пяти, по достижении истинной зрелости. Надо это проговорить с Игорем. Трахаться можно сколько угодно, а плодить детей – только когда умеешь отвечать за себя и за них. Выходить замуж тоже с сорока. В двадцать я была невообразимая дура. В полной уверенности, что никому никогда не буду нужна, вышла за нашего мужа, дала жизнь еще одному существу и завязала свою биографию в невообразимый узел, изволь теперь жить и плодотворно трудиться в завязанном состоянии. Так думала молодая повеса, вставая под душ и мысленно – третью уже неделю – прикидывая: нет, еще ничего, вполне, не стыдно будет показаться инопланетянину.

– Я кебабы купил, – крикнул наш от телевизора.

– Я не голодная, – отозвалась она, но тут же подумала, что в смысле конспирации это прокол: третью неделю они с Игорем ходят по забегаловкам вокруг работы, она возвращается сытая и раздраженная, – сытая от игоревых щедрот, раздраженная от необходи-

мости возвращаться, – и все это может навести на определенные размышления, даже если ты непрошибаемо убежден в заурядности собственной жены. Конечно, облагодетельствовав провинциалку, получив в ее лице безропотную кухарку и бездонный сосуд для излияния своего раздражения… ну ладно, ладно, это было уже чересчур. Еще месяц назад, в августе, она была вполне довольна, – или убеждала себя в этом, – но в сентябре появился Игорь, и все пошло кувырком. Сохранялась, впрочем, видимость благопристойности, и Катька диву давалась, до какой степени, значит, их с мужем ничего не связывало, если уже три недели она была ему совершенно чужая, а он ничего не замечал, и все шло, как обычно. Впрочем, может, замечал. С Сереженькой ни в чем нельзя быть уверенной, на этот счет у нее был солидный опыт. Вроде бы все гладко – «и вдруг разинет рот да как заорет: скорее головы канарейкам сверните!». Вероятно, он и теперь что-то в себе копил, дабы потом, под горячую руку, припомнить ей и поздние возвращения, и хозяйственную нерадивость, – и тогда она в ответ скажет ему, что уходит и забирает Подушу. Это надо было еще обдумать. Подуша обожала отца, а с Игорем они не были знакомы даже заочно: Катька отчего-то избегала с ним разговаривать о дочери, Игорь просто знал, что она есть, – а Подуше вообще трудно было объяснить, где мать работает и какие у нее друзья. В «Офисе» Катька появилась пятого сентября, и Подуша знала только, что мать рисует для журнала и что там имеется подруга Лида. Лида ее туда и привела, когда вполне предсказуемо и все-таки неожиданно лопнул «Созерцатель». Сереженька, конечно, уверял, что проживем, но снова садиться на шею нашего мужа, выслушивая при случае рассказы о том, как он устал горбатиться и как невыносимо приходить в неубранную квартиру… ведь, казалось бы, у тебя столько свободного времени – могла бы и подмести! Нет, пусть у меня опять не будет свободного времени. И она пошла в «Офис», и не знала теперь, радоваться или ужасаться. Хотя конечно, радоваться! Молодость была кислая, угрюмая, закомплексованная – так вот нам напоследок царский подарок.

– Заснула нормально?

– Тебя требовала, но я спел про невесту.

Это нам, вероятно, намек. Ну как же, ребенок ждет, мы тут шляемся и черт-те о чем думаем.

– Мы номер сдавали.

– Кать, я совершенно не в претензии.

И ведь любила же когда-то, что самое интересное. Такие были страсти, такие внезапные приезды под окна ДАСа, выбегала к нему вся разнеженная, и не сказать, чтобы потом было ужасно. Было очень прилично, и даже в первый год после рождения Поли никто не жаловался. Демонстрировалась забота, предупреждение желаний. С самого начала, конечно, было ясно, что не то и придется притираться, – но и думалось, что это необходимость и так у всех. А по сравнению с личной жизнью подруги Лиды, чей муж вообще таскал ее в байдарочные походы и постоянно цитировал бр. Стругацких, наш был еще приличный, даже с проблесками понимания. Иное дело, что он был безнадежно нудным парнем, без малейшего полета, но это стало ясно, только когда возник Игорь со своей непрекращающейся неделей игры и игрушки. Тут-то и оказалось, что сама она тоже способна что-то выдумать – причем не только для картинки; во всех этих играх, клялся он, из нее получался идеальный партнер, и вообще – если б он ей встретился пять лет назад, Господи, кто бы стал смотреть на Сереженьку! Но пять лет назад, скорее всего, она представляла бы для него сугубо познавательный интерес – так, земная женщина, ничего особенного.

Игра в инопланетянина была особенно занятной и длилась пятый день. Сначала, вспоминала Катька в кухне, яростно размешивая чай и более всего желая, чтобы муж так и остался у телевизора, – сначала были вещи более традиционные: допустим, что ты дочь богатого чаевладельца и живешь на Мясницкой. Какого чаевладельца? Ну не знаю, чаеторговца. Чай от… как твоя девичья фамилия? Калинина, какая прелесть. Значит, «Чай Калининых».

Шикарный дом в центре города, в первом этаже магазин, в витрине пальма. Ошеломляющий запах чая двадцати пяти сортов – и с померанцем, и с марципанцем, и с бергамотцем, и что угодно для души. Папа, понятное дело, продвинутый, не без эстетизма. Собирает у себя салон. Для дочек. У тебя сестры есть? Вообще-то у меня брат. Ученый брат, намного старший. Он в Германии, родителей забрал к себе. Хорошо, брат. Но давай допустим, что у тебя есть сестра, дура, уродина, жестокая и толстая девочка, которая бьет тебя с раннего детства. А ты вся такая золушка, кротко это переносишь, только иногда у тебя появляется неотвязная фантазия, что ты не родная дочь у родителей, что твой добрый отец настоящий, а холодная, самодовольная мать – его вторая жена. В общем, в один прекрасный день они завезут тебя на саночках в лес и бросят. Такие тебя посещают бреды, понимаешь?

А потом, в один прекрасный день, собирается салон. Приходят голодные, но страшно претенциозные модерновые поэты. Один из них по-настоящему талантливый, его звать Игорь, а все остальные так себе, шелупонь, авторы и составители сборника «Лягушачья икра», изданного в самодельном издательстве «Мускус». Все поэты наперебой стараются очаровать толстую, наглую дочь Калинина, а ты сидишь одна, в углу, и никто на тебя никакого внимания… Но после того, как жидковолосый, неопрятный Кубышкин читает венок сонетов «Вошь», – дело происходит в пятнадцатом году, окопная тематика уже возобладала, – ты вскакиваешь так, что чуть не опрокидывается чайный столик, и трагическим, низким голосом восклицаешь: «Боже, какая чушь! Неужели, неужели вы не понимаете, что всего этого скоро не бу-дет! Не будет ни-ко-го!» – и с ревом выбегаешь. Все в замешательстве, а я, конечно, за тобой. И осушаю губами твои истерические слезы где-нибудь на темной лестнице… Как?

– Ничего этого не будет, я обуреваем, – мрачно сказала Катька. – Похоже?

Это был второй, кажется, их разговор. Он имел место в отвратительной столовке «Офиса», где давали в тот день винегрет, картофельный суп и серую котлету, но и на том спасибо – в «Созерцателе» буфета вовсе не было.

– Похоже. Только больше надрыва. А потом, сама понимаешь, ужасная любовь, но меня мобилизуют, и я пропадаю без вести. А в восемнадцатом папаша быстрее прочих сообразил, что отсюда надо драпать, и ты…

– Беременная от красноармейца, – вставила она.

– Почему от красноармейца? Ты что, комиссаршей на фронт пошла?

– Нет, полюбила представителя угнетенного класса. Из чувства вины.

– Это ты мне не заливай. С красноармейцем у тебя могло быть только по принуждению, и то ты вырвалась бы. Ты не веришь, что я погиб, и хранишь мне верность. Итак, Париж, двадцать второй год, приезжает делегация российских дипломатов… и кто же переводчик?

– Конечно, ты, Карлсон!

– Разумеется, я. Я там на фронтах перековался, все пересмотрел и решил, что будущее России – в большевизме. И дезертировал под это дело. Был агитатором. Мотался по фронтам. – Он опустил голову и принялся выталкивать слова резко, хрипло, взглядывая на нее исподлобья. – Окопы. Вши. Знаете вы, Катя, что такое вши? Настоящие, жирные? Это совсем не то, что писал тот щенок… как его… Букашкин… Потом тиф… Бредил водой, водопадами, айсбергами… Выходили. Женился. Жена – простая, грубая. Ненавижу. Теперь здесь. Катя, одно: да или нет? Там – жизнь. Тут – болото. Катя, вы пойдете со мной?

Они пошли тогда в «Синдбад» – Катьке там страшно понравилось, очень жаль, что две недели спустя его погромили в ответ на взрыв в Саратове. Было совершенно непонятно, почему вдобавок к саратовскому взрыву надо еще громить приличное кафе в Москве, но власть не вмешивалась: люди должны дать выход чувствам. Потом ходили в «Ласточку», потом в «Суши весла», – восточных кафе в городе почти не осталось, в остальных из странной национальной гордости перестали готовить плов и манты, хотя, казалось бы, узбеки-

то при чем? И все это время Игорь выдумывал им роли, – давай ты шахидка, у тебя растет шахидыш, а я русский милиционер, задержал тебя и жалею… А давай ты скинхедка с рабочих окраин, а я гастарбайтер, я защитил тебя от изнасилования в электричке, и теперь в тебе борются долг и чувства… Все было весело, но лучше всего получился инопланетянин.

– И как будто я ничего у вас тут не знаю, а ты мне все рассказываешь. Вот это, например, для чего?

– Это предмет, освещающий улицу, ряд домов. Он должен испускать свет, но не испускает.

– Испортился?

– Нет, военная хитрость. Глупый инопланетянин думает, что у нас все ломается, не стыкуется и разваливается, и начинает постепенно захватывать все земное, начиная с девушек. А мы только притворяемся, на самом деле у нас готовность номер один.

Осень, на их счастье, была отличная. Она казалась похожей на другую, тоже совершенно счастливую, десятилетней давности. Катьке исполнилось пятнадцать, она быстро взрослела и сама поражалась своим новым возможностям – в голову приходили отличные мысли, прилично рисовать она начала именно с этого времени, сами собой появились новые знакомые, понимавшие, что она делает, была поездка с ними в Москву, сумасшедшая ночь у сумасшедшего художника на Арбате, никаких приставаний, конечно, большая компания, сплошная романтика… Даже родители все стали разрешать и смотрели на нее с внезапным почтением. Мишка уже уехал в свою Германию и триумфально двигался к славе. В ее жизнь и даже в комнату никто больше не лез.

Та осень ей запомнилась лучше всего – вероятно, потому, что Катька тогда смотрела на мир новыми глазами. Был сентябрь с большой буквы, архисентябрь, – ясный, теплый, четкий, с резкими линиями веток и проводов, с вызолоченными солнцем кирпичами хрущевки напротив. Катька, проснувшись, долго смотрела на нее. В школу не хотелось, и несколько раз она ее пропустила, гуляла по любимой улице генерала Трубникова, освобождавшего Брянск (улица Трубникова была вся в кленах, которые в тот год отчего-то сплошь стали медно-желтыми, ровного солнечного цвета), смотрела на старух во дворах, прислушивалась к случайным разговорам и чувствовала себя тайной хозяйкой всего этого. Но и хозяйка – не совсем то: она была как бы представительницей Брянска перед незримыми, тайными наблюдателями, ей предстояло за все перед ними отчитаться и все объяснить. Это мы, Господи. Вот пруд, вот старик, разговаривающий сам с собой, вот вечно бранящаяся с матерью, несчастная очкастая девочка с собакой – они живут этажом выше, мать, девочка и собака, и когда мать с девочкой особенно неистово орут друг на друга, собака вступает с пронзительным лаем, умоляя их замолчать. Все замерло на пределе, за которым, конечно, тоска и распад – но пока, в последний миг, все еще старалось блеснуть, в полную силу показать себя и только после этого кануть. Она никогда раньше не понимала, что осень для того только и придумана: весна слишком суетлива, лето блаженствует и ни о чем не думает, – осень впервые понимает конечность всего, но на осознание этой конечности у нее совсем мало времени. Потому-то прозрачная ясность так быстро сменяется мутью больного, истерзанного сознания: делайте что хотите, только скорее.

Теперешняя осень была так же ясна, тепла и золотиста, и так же Катьке приходилось отвечать перед неведомым наблюдателем, но уже за Москву. В сущности, у нас неплохой город. Это было тем забавней, что Игорь тут родился, а она жила последние восемь лет, – но он идеально перевоплощался в чужака и на второй день игры даже выдумал язык, на котором они теперь почти все время разговаривали: сплошные инфинитивы, именительные падежи, усиливающие повторы, прелестное дикарское наречие.

– Что быть тут?

– Тут быть проспект, ряд домов, в честь Ленин. У нас быть обычай называть в честь великий человек улица, корабль, иногда научный институт.

– Что сделать Ле-нин?

– Он картавить, делать рука вот так, говорить: «Това'ищи! Това'ищи!». Потом он умереть, и товарищи назвать улица, чтобы вечно помнить, как хорошо говорить милый, милый товарищ Ленин. Такой лысенький.

– Ты его любить?

– Бэзмэрно. Как только слышать про товарищ Ленин, так сразу подпрыгивать, махать ручки, хохотать. Вот так: «Товалищи, товалищи!», – она подпрыгнула и поцеловала Игоря в нос.

Она объясняла ему, что такое мороженое и почему оно в стаканчиках; почему один орех называется грецким, а другой – миндальным; зачем на растяжке крупно написано «Поздравляем с днем города!» («А что, в городе бывают какие-то другие дни?» – «Разумеется. Страна у нас сельская, большую часть года все живут соответственно, без горячей воды, с удобствами во дворе, – чтобы селянам не было обидно. Когда наступает день города, все ужасно радуются: дают воду, показывают кино, работает канализация… но все это только один раз в году»). Они забредали в Нескучный сад («Почему Нескучный? Здесь никто не скучает?» – «Ну что ты. Здесь во время Дня города раздают Нескафе, оно лежит по всему парку огромными бесплатными кучами, почему он и называется Нес-кучный»), видели рубку толкиенистов на деревянных мечах, – один вдруг узнал Игоря и подошел.

– Галадриэль, магистр! Верный ученик приветствует тебя!

– В смысле? – дружелюбно спросил Игорь.

– О, простите мою неучтивость! Любезная дама, я должен был обратиться сначала к вам! Сообщите мне ваше звездное имя, чтобы я мог повторять его в битве.

– Его уже я повторяю в битве, – объяснил Игорь. – Вы меня, рыцарь, не за того приняли.

– А, – сказал толкиенист. Вид у него стал озадаченный. – Играем. Понял. Простите, что вторглись.

– Да ничего, ничего.

– Когда магистр играет, ученик отступает, – учтиво сказал толкиенист. Он был приятный малый, хотя и сальноволосый. – Удачи магистру. Помните, что всегда можете рассчитывать на Эстрагорна.

– Непременно, непременно, – ответил Игорь. – Добро победит, мир, дружба, жвачка.

Толкиенист нахлобучил шлем и отбежал к своим.

– Ты его знаешь? – удивилась Катька.

– Понятия не имею.

– А чего же он…

– Ну, обознался. Или вербует нового человека. У психов своя логика.

– А я уж подумала, что ты в юности того…

– Кать, я похож на толкиенутого? Серьезно? Магистр Эстрагон, рыцарь Тархун?

– Ты ни на кого не похож, за это я так по тебе и сохну, – серьезно и уважительно сказала она. – Знаешь, как приятно говорить другому человеку, что по нему сохнешь? Я уж думала, что все, отсохлась. Поразительные способности открываются в организме.

Потом пили зеленый чай на открытой веранде странного клуба «Ротонда», где собирались незлобивые, отрешенные люди, почему-то сплошь в черных очках («Это наши, – пояснял Игорь, – они слетелись посмотреть, не делаешь ли ты мне зла»). Там, в «Ротонде», в присутствии внимательно наблюдающих за ними инопланетян, которые, конечно, только для виду заказывали пирожные и минералку, – он впервые рассказал ей, зачем, собственно, Земля.

– У вас многое хорошо, но неправильно, – пояснил он. – Мы наблюдаем и не допускаем.

– Ага. То есть здесь, как я понимаю, своего рода полигон.

– Ну да, можно так. Когда вас открыли, то очень обрадовались: у вас жизнь почти совсем такая, как у нас. Немножко другая биоформа, другая корова, другой скунс. Но в целом очень сходно. Тогда решили, что зародят сюда жизнь и будут смотреть, и делать так, чтобы у нас не повторялось.

– Долго же вы ждали. Сначала инфузории, потом динозавры…

– Да нет. Какие динозавры? Динозавр – мифологический персонаж, вроде дракона. Обычная ящерица, только большая. Их никогда не было. Просто выселили сюда какое-то количество народу, оно стало плодиться и размножаться, а мы смотрим и учитываем.

– Поняла, отлично. Изгнание из рая. А за что их?

– Ну, было за что.

– За первородный грех?

– Это они так придумали, что за первородный. На самом деле у нас за это никого не выгоняют. Все это делают, и ничего. Просто… за мелкие пакости.

– Но это нечистый эксперимент. Преступники дадут преступное потомство, земля будет заселена моральными уродами…

– Ну а как иначе наблюдать? Если сюда ссылать прекрасных людей, они не будут допускать ошибок, быстро построят совершенное общество по нашему образцу, и прощай вся затея. Мы сюда забрасываем самых таких, забыл, как это по-нашему… анкурлык.

– Ага. А всех хороших, случайно тут образовавшихся, отзываем к себе, поэтому лучшие поэты редко живут дольше тридцати семи. Игорь, почему все программеры такие обчитанные посредственной фантастикой?

– Ничего не посредственной, ты это сама придумала. Никто хороших не отзывает. Легенда о загробной жизни – продолжение воспоминаний о потерянном Рае. Типа здесь не пойми что, а где-то там есть правильная земля. Она есть, конечно, но туда никто не попадает.

– А как вы доставляете этих ваших плохих?

– Как-нибудь покажу. Дубов, например, сам сбежал.

– А обратно его никак нельзя?

– Нет, Кать. Никак. Я его лично не пущу. У вас ему самое место.

Дубовым звался – и, надо сказать, весьма точно, – ответственный секретарь «Офиса», редкий дурак и трус, по двадцать раз перепроверявший любой факт и вырубавший из текста даже фразы типа «Очевидно, что…». «Мы работаем для деловых людей, – говорил он с теплой комсомольской интонацией, – и не наше дело указывать им, что очевидно, а что нет. Вам очевидно, а им, может быть, неочевидно». Представители крупного бизнеса представлялись ему особым, высшим отрядом млекопитающих, все у них было не как у людей, угадать их предпочтения было невозможно – это дано было только жрецам, редкой породе, к которой принадлежал и сам Дубов. Вероятно, он видел себя кем-то вроде овчарки, лучшего друга человека, – тогда как прочая команда журнала состояла в лучшем случае из болонок и такс. Деловые люди, вероятно, были и в самом деле не совсем люди. Катька решительно отказывалась понимать, кому может быть интересен их журнал, главным критерием оценки текста в котором была не точность и не увлекательность, а таинственная и непредсказуемая рекламоемкость. Дубов с истинно собачьим чутьем отсекал все, что приносили живого, заменял удачные обороты на неудобочитаемые и бестрепетно лишал все тексты даже еле уловимого личного начала. В редакции «Офиса» собралась разношерстная публика, и ни с кем, кроме Игоря, Катька толком не сошлась, – но Дубова ненавидели все. Только это – да еще дружная брезгливость относительно буфета, – и сплачивала их в подобие коллектива.

– И откуда же у вас, в вашем прекрасном обществе, после долгой селекции, еще берутся плохие люди?

– Сами не знаем. Это что-то генетическое, вроде сбоя в программе. Один рождается без слуха, другой с ослабленным иммунитетом, а третий, например, клептоман. Это только у вас придумали зависимость от среды. От среды зависит не больше, чем от погоды. Но у нас, слава Богу, быстро разбираются, что к чему. Всякая неприятная личность сюда попадает еще в детстве, в крайнем случае в молодости.

– И ничего не помнит.

– Почему, помнит что-то… Иногда во сне видит… Летает там, как у нас. У нас многие летают, очень запросто.

– Ну хорошо, а ты что здесь делаешь? Такой славный?

– Инспекция, мать, инспекция. Надо следить, что тут у вас, и предупреждать у нас. Иначе на фиг бы вы и нужны, с вашими терактами. Инспектор быть профессия гордая, рискованная. Многий не возвращаться. Некоторый влюбляться земная женщина, любить крепко, много сильно, она его жрать, жрать, как у вас быть принято. Некоторый драться с жестокие мальчишки. Другой попадаться милиция при попытке освободить несчастные животные из зоопарк. Так что цени, я человек непростой.

– Это да, – согласилась она.

2.

В начале октября, в один из последних теплых дней, они сидели на парапете смотровой площадки на Вороньбевых горах, пили «Балтику» номер седьмой и рассматривали женихов и невест, в изобилии съезжавшихся сюда по случаю субботы.

– А я ведь так и не знаю, как у вас размножаются, – грустно сказал Игорь.

– Ты сам говорить, у нас одна биоформа.

– Биоформа одна, а размножаться по-разному.

– Откуда ты знать?

– Быть специалист. Но только в теории. Ты знаешь, по-настоящему размножиться на земле удавалось очень немногим нашим. Почему-то ваши женщины к этому допускают очень неохотно. У нас гораздо проще: полюбил, поговорил, размножился.

– Ну и неинтересно.

– Очень интересно. И вообще у нас секс отдельно, а размножение отдельно.

– Почему?

– Потому что только у вас надо обязательно обставлять размножение максимальной приятностью. Очень сильный нужен стимул человеку, чтобы продолжать род. Жизнь плохая. А у нас не так, у нас размножение в радость, и женщина это делает сама. Она съедает специальный фрукт, похожий на земное яблоко, – и, как это у вас называется, за… за…

– Залетает.

– Ну да, да. По-нашему тыбыдым.

– Игорь, – сказала Катька страшным шепотом. – Ты тронул сердце земной женщины, и я тебе откроюсь. У нас тоже так.

– Что – тоже?

– Секс отдельно, а размножение отдельно. Это все женский пиар, что люди трахаются и от этого залетают. Придумано, чтобы мужики женились. На самом деле от такого приятного дела не могут получаться дети. Дети – это серьезно, а секс – развлечение, праздник. Сам посуди, если бы дети получались от секса – сколько бы тут было детей? Все бы только и делали, что плодились. А откуда, по-твоему, столько матерей-одиночек? Женщине стало скучно, она съела яблоко и размножилась. Посмотри, у каких бывают дети. Неужели кто-то с ними занялся бы сексом?

– А где вы берете эти яблоки?

– А вы?

– У нас выдают централизованно. Ты пишешь заявление, специальная комиссия изучает твои жилищные условия, образование, нравственные качества… И тогда тебя либо отправляют на курсы повышения квалификации матерей, либо выдают яблоко. Я его никогда не пробовал, но говорят, что исключительно вкусно.

– А у нас не так, – сказала Катька. – У нас естественный отбор. Если женщина может достать такое яблоко, то она, значит, уже готова к деторождению. Его очень трудно найти, целая процедура. Через знакомых там… А милиция специально отслеживает, кто их распространяет, и отлавливает. Масса риска. Ты думаешь, почему Дума запретила рынки?

– Из-за террористов.

– Господи, ну при чем тут террористы! Что террорист, на рынок пойдет? Персиками торговать? Это все из-за размножения. Очень много стало людей, прокормить невозможно. Убивать пока смелости не хватает, так они решили рождаемость свернуть.

– Подожди, подожди, я не понял, – он нахмурился. – Что, это только в России залетают от фрукта? Или во всем мире?

– Да везде, конечно. У русских есть анатомические особенности, но я тебе потом расскажу. А размножаются все одинаково, только в России это обставлено трудностями. В Штатах эти яблоки на каждом углу лежат, размножайся не хочу. А у нас все делается специально для того, чтобы как можно меньше было народу. Ты что, не замечал?

– Нет, почему. Замечал, но как-то это… не отдавать отчета…

– Вот смотри. В «Офисе» гендиректора почему сменили? Потому что этот еще хоть какое-то представление имел, как журнал делать. Новый пришел, и первым делом что? Первым делом чтобы все ходить на работу к десяти, на перекур отпрашиваться, в сеть лазить только по делу. То есть уконтрапупить максимально все, чтобы никто не хотеть работать, думать работа с отвращение, с тоска. Ну и во всем так. Хочешь размножиться – крадешься в ночи на конспиративное место, ищешь эппл-дилера, обманываешь слежку… И яблоко это жутко невкусное, жесткое, с мыльным запахом. Горечь такая, что скулы сводит. А не фиг размножаться потому что.

– Оно как выглядит-то?

– Ну что ты за наблюдатель, ничего не знаешь! Сорт такой, кандилька.

– Оно же, наверное, растет где-то в природе? Можно же без дилера, просто к дереву сходить?

– Ну можно, да… Только это еще опаснее. Они растут только на очень сухой почве и в небольшом количестве. Милиция где увидит – сразу рубит. И яблоню, и владельца. Их в строгой тайне выращивают, на плантациях в лесу. В Средней Азии они еще хорошо растут. Ну так там и размножаются по-страшному…

– Слушай! – Игорь воодушевился, игра ему нравилась. – А если мужчина съест такое яблоко?

– Это тайна, – сказала Катька. – Дай ухо.

– На.

– Он познает суть добра и зла, – прошептала она, встав на цыпочки.

– Господи, какой ужас, – благоговейно сказал Игорь. – Поехали купим, а?

– Нет, – решительно сказала Катька. – Я не знаю, как это подействует на инопланетянина. Вдруг ты размножишься. А я с тобой и одним не знаю, что делать. Мы лучше поедем к тебе, и я тебе покажу, как у нас занимаются сексом.

Он несколько опешил. Шла четвертая неделя бурного романа, но до сих пор она отвергала все его осторожные предложения. Катька и сама не знала, почему вдруг сделала ему непристойное предложение. Минуту назад она не предполагала ничего подобного. Может, на нее так подействовал разговор о размножении, а может, просто она ужасно любила Игоря в эту минуту, и ей нравилась погода, и она была ему страшно благодарна за последний месяц, когда вспомнила наконец, какая бывает жизнь.

Он схватил ее за руку и потащил к стоянке такси.

– Ну ладно, ладно! Куда ты! Стой, мы пешком пойдем до Киевского.

– Катька, это садизм.

– Почему садизм?! Наоборот, это счастье. Я хочу гулять. Я хочу, чтобы все было медленно-медленно, долго-долго, в счастливом предвкушении. Ты же точно знаешь, что я еду к тебе. Зуб даю, что не передумаю. И вот мы идем, идем, а впереди кайф. Человек всегда на него кидается, а самое-то лучшее – именно растягивать ожидание. И вот мы идем, идем… и только потом выясняется, что ты забыл ключи…

– Начитанная, – сказал он, глядя на нее с восхищением. – Прямо, ты знаешь, у меня такое чувство, что тебя делали на заказ. По моей выкройке.

Они много раз потом вспоминали малейшие детали этой прогулки – из всего, что Катька придумала в жизни, это затянувшееся ожидание счастья было самым удачным замыслом. Она отлично знала, что все будет так, как надо, и лучше; что не будет ни малейшей

неловкости, никакого непонимания – полная гармония, веселое бесстыдство и та особенная ясность ума, которая всегда наступает в постели, если оказываешься там по любви. «Как в страсти прояснялась мысль!» – именно про это, такого не выдумаешь. Мысль прояснялась уже сейчас, они оба запоминали все с небывалой четкостью – полуголого старика на роликах, который промчался мимо, сосредоточенно глядя перед собой, словно видя впереди здоровье и долголетие, к которым устремлялся; мальчика, настойчиво требовавшего купить ему стеклянное яйцо с объемным лазерным изображением Кремля внутри, – и разразившегося внезапным, диким басовитым воем, когда стало ясно, что никто ему ничего не купит, еще бы, полторы тысячи за такую ерунду! – и странную толпу ментов из «Антитеррора» в красных бронежилетах, человек пятьдесят, вдруг высыпавших из экскурсионного автобуса, и двух девочек на лошадях, предложивших прокатиться; девочек этой породы а ля Оксана Окиньшина Катька отлично знала – они с раннего отрочества пропадают на ипподромах, ненавидят людей и любят только лошадей, кормят их, разговаривают с ними, но любовь к животным тут ни при чем – скорей эротический подростковый подтекст, тоска по кентавру. С людьми эти девочки всегда высокомерны – запрезираешь человечество, ежедневно видя толстых дядек и визгливых теток, неуклюже влезающих на благородное, грациозное, жестоко эксплуатируемое животное… А поскольку Катька больше всего на свете ненавидела именно высокомерие, из которого и произошли все другие пороки, – она никогда не давала этим девочкам денег на прокорм лошадей и не каталась по Воробьевке на грациозных животных.

– А это у нас знаешь что? – указала она ему на невысокий, примерно в полтора человеческих роста, желтый забор напротив. Вдоль забора росли кусты с красными ветками – Катька не знала, как они называются, но почему-то считала, что это бузина.

– Не знаю. Сколько тут хожу, всегда хотел перелезть и поглядеть.

– Тут была одна дача товарища Сталина. У него их было много вообще, никто не знал, на какой он находится. Он любил так развлекаться – говорит кому-нибудь: приглашаю вас, значит, к себе на дачу. Посмотрим там кино, Хрущев споет, сыграем в бутылочку… Человек едет – и никогда не знает, на какую дачу. Такая рулетка. А опозданий товарищ Сталин не прощал. Говорит: «А, ви, значит, опаздываете. Ви нас нэ уважаете. Ну канэшно, канэшно – у вас есть развлечения получше… Ви, наверное, к троцкистско-бухаринской оппозиции в гости ездите и там играете в бутылочку… Где уж вам заезжать к бэдному товарищу Сталину…» – и все, и нет человека. Некоторые прямо тут же и умирали, описавшись. Так что или надо было угадывать, или очень уж заранее начинать объезжать все дачи, спрашивать у охраны: простите, не здесь ли товарищ Сталин? А у охраны строгое приказание на вопросы не отвечать. Чтобы враги не дознались.

– Ужас. Зачем же они к нему вообще ездили? Хрущев так хорошо пел?

– Ты не понимаешь. Сам товарищ Сталин не представлял из себя ничего особенного, но у него был садик. На одной из дач. Между прочим, как раз на этой. Особо полюбившихся ему людей товарищ Сталин выводил в этот садик и предлагал его осмотреть. И не было во всей стране более высокой награды. Чего только не было в садике товарища Сталина! Он сам заботливо ухаживал за розами, и розы были голубые, зеленые, радужные. Удивительные сливы, величиной с детскую голову и такого же цвета…

– Детородные яблоки…

– Конечно, ведь товарищ Сталин должен был знать суть добра и зла! Каждое утро он съедал такое яблоко, и смысл добра и зла каждый раз был новый. Осмотреть садик он предлагал только самым достойным, знатным людям. Знатными назывались летчики, хлеборобы… Он приглашал самого достойного – только раз в год! – и показывал ему садик, и дарил розочку. По выходе из садика розочка тут же превращалась из радужной в обычную, розовую. Один человек попытался черенок от этой розы посадить у себя на даче – ничего не

вышло. А я в одном доме видела засушенный лепесток, ничего особенного. Но считалось, что если в самый трудный момент его съесть, то можно как-то спастись.

– От чего?

– От всего. А самое потрясающее знаешь что? Что только один раз в году товарищ Сталин и сейчас выходит из своего садика, вон из той калитки, и приглашает к себе людей. Идет мимо какой-нибудь прохожий, а тут – бац! – товарищ Сталин. Зайдите, говорит, ко мне, я хочу показать вам свой сад. И на счастливца обрушивается нечеловеческая удача.

– Никто не возвращался?

– Да все возвращаются, но жизнь им уже не в радость. Они видели садик товарища Сталина, и современность им теперь ничего не может предложить…

Они дошли до Киевского вокзала, мимо сине-свинцовой, тихой Москва-реки, мимо патентной библиотеки, мимо ТЭЦ, на которой Катька еще помнила надпись «Коммунизм – это есть советская власть плюс эликтрификация всей страны» («Знаешь, почему у них не получился коммунизм? Они не нашли плюса! Власть была, электричество было, а плюс утрачен еще Парацельсом!»), – и от Киевской доехали на метро до проспекта Мира, нагло целуясь на всех эскалаторах; там пересели и поехали в Свиблово, обнимаясь все тесней, все крепче, – дом был прямо у метро, рядом с деревянной часовней. Выходя из метро, Катька отключила мобильник. Если наш муж позвонит, весь кайф обломается. Она и представить себе не могла, как с ним говорить – это даже теперь, когда ничего еще не было; а потом…

Игорь жил на двенадцатом этаже.

– Слушай, – шепнул он в лифте, – а ведь ты нарочно решила так долго добираться. Теперь мы войдем, ты скажешь, что попьешь чаю – и сразу надо бежать, потому что уже поздно. Это будет совершенно в твоем духе.

– Ты дурак, – сказала она. – Если я хочу с тобой спать, значит, я буду с тобой спать.

– А дома что скажут?

– Это мои проблемы, не лезь туда, пожалуйста.

– Может, ты все-таки уйдешь ко мне?

– Может, и уйду. Подожди, ты же еще не знаешь ничего. Вдруг вообще ничего не получится.

– С какой стати? – Он чуть не выронил ключи.

– Ну мало ли. Есть понятие «антитело». Все хорошо, а в постели полная несовместимость.

– Типун тебе на язык. Милости прошу. Скромно, но просто.

– А что, – сказала Катька, – очень милая берлога. Я так себе и представляла. Давай, ставь барласкун, кыгырык, дырмыр, и тогда, возможно, мы будем немного тыбыдым.

– Кыгырык не завезли, – сказал Игорь виновато. – Они очень плохо снабжают в последнее время. Говорят, сами там ищите, раз у вас такая стабилизация.

– Ну и написал бы, какая тут стабилизация.

– Они не верят ничему. Зорге же тоже не верили.

– А зачем тогда держат?

– Хороших людей забирать.

– Ой, погоди… – Она отпихивалась, но слабо. – Отцепись, у меня и так ноги подгибаются. Я, что ли, в дыш сначала… Есть дыш?

– Есть, есть. Есть даже хылыт.

– Слушай, – обернулась она уже на пороге ванной, – а я ведь совершенно не в курсе твоей жизни.

– Очень своевременный, оправданный интерес. – Он выпрямился рядом с полузастеленной кроватью и скрестил руки на груди. – Я родился от бедных, но благородных роди-

телей, получил порядочное образование, на землю попросился добровольно, будучи наслышан о трудной, но благородной работе разведчика…

– «Мертвый сезон» не смотрел?

– Обязательно. Все приличные люди начинали в разведке. Это мой третий рейд к вам. Если хочешь узнать мое настоящее имя, наберись терпения. В нем тридцать три слога, и еще сорок пять в титуле.

– Ты аристократ?

– Прямо скажем, не под забором найден. Катя, иди уже в душ, пожалуйста, а? Хочешь, я тебе потру спинку?

– Не надо, я сама потру себе спинку. Но меня мало интересует твое происхождение. Меня волнует, например, был ли ты женат. Вот в этом халате до меня многие гостили?

– Честное слово, ты первая. Я купил его неделю назад в предвидении именно такого случая.

– Честно? Выглядит подержанным.

– Что ты хочешь, свибловский рынок. Теперь его закроют, хоть память будет.

– Ты раздевайся, не стесняйся, – сказала Катька.

– Да? А ты будешь стоять и смотреть?

– Ага. Очень интересно.

– Знаешь что, Катя!

– Ну, у вас же все совсем иначе устроено…

– Я не могу тебе вот так показать. Я должен тебя подготовить.

– Что, настолько страшно?

– Нет, просто очень красиво. Иди, пожалуйста, куда шла.

Под душем Катька пела. Она нарочно мылась долго и шумно – надо было оттягивать счастье еще и еще, а между тем в самом деле было поздно, седьмой час, и у нее впервые мелькнула мысль – плюнуть на все, остаться у него, – но это было вовсе уж безответственно; и вообще надо посмотреть… Как странно, сейчас мы будем изменять мужу. Но какая же это измена? Счастье накатило и не отпускало: счастье – это когда все можно.

Когда она вышла наконец из ванны, завернутая в явно великоватый халат, горячая, влажная, с полотенцем на голове, – он уже лежал под одеялом и читал какую-то фэнтезийную ерунду с когтистой красавицей на обложке. В зубах красавица держала меч, а в когтях – рыцаря в полном прикиде. Рыцарь тоже кого-то держал, но Катька была близорука.

– Читаем, да?

– Да, знаешь, что-то взгрустнулось. Захотел почитать про Родину.

– Взгрустнулось? – Катька села на кровать. – Всякая тварь грустна перед соитием. У нас после, а у вас перед.

– Слушай, – он оторвался от книги. – Может, не надо соития, а? Я тут подумал…ну, все это так серьезно… Мы еще не готовы, ты недостаточно про меня знаешь, мы не проверили свои чувства… По нашим законам, юноша должен совершить три-четыре подвига и только потом взять девушку за, я не знаю, подбородок…

Она смотрела в его хитрые глаза и сияла: это было то, что надо, и с самого начала не надо было ничего другого, и какая несправедливость, что все вышло только сейчас. Катька всю жизнь стеснялась своего тела, да и вообще себя – словно каждый день вынужденно доказывала кому-то собственное право на существование; она привыкла к этому грузу, и несла его без усилий, как улитка домик, но только теперь, когда ноша спала, – стало ясно, какая тяжесть пригнетала ее к земле с первого класса, с первого контакта со средой. Нам так редко и неохотно подбрасывают своих, чтобы мы не понимали, какой ужас – чужие. После одного дня со своим невозможно сидеть с чужими в классе или на работе, входить в метро, полное чужих тел, ложиться в одну постель с непонятным полузнакомым человеком.

В своем все устроено, как надо. Нет ничего, что резало бы глаз или заставляло в смущении отворачиваться. Нет ничего, что надо преодолевать. Такая полнота совпадения невыносима, как чистый кислород: после этого все оскорбительно и грязно, и лучше вообще не разлипаться. Кощунственна была сама мысль о том, чтобы перед этим пить – тогда как с прежними своими мужчинами Катька до такой степени стыдилась самой ситуации, что обязательно опрокидывала банку-другую джин-тоника, а то и прибегала к чему покрепче. Здесь пить – значило замутить грязным дыханием тончайшее стекло, захватать пальцами кристалл.

– Нет, погоди. Я должна тебе все объяснить. Ты можешь сделать не так, мы хрупкие существа. Значит, есть три дырки.

– Больше, больше…

– Уши не в счет. Пусти, дурак, ты приехал информацию собирать или зачем? Тебе неинтересно, что ли?

– Нет, почему, очень увлекательно. Продолжайте, профессор.

– Ну вот. Есть три отверстия. Одно, основное, расположено здесь и скрыто от глаз. Некоторые бреют, но мы считаем это неэстетичным.

– Действительно. Такой милый хвост.

– Это у тебя милый хвост. У нас это как бы ежик. Ежик – насекомоядное животное, живет в средней полосе практически повсеместно… Погоди, не трогай зверька. Он испугался и свернулся. Мы имеем также другое отверстие, противоположное, в него тоже можно, но в основном оно не для этого. Бывает типа банальный секс и анальный секс…

– Но это ужасно больно, наверное.

– Ты знаешь, у наших мужчин считается очень оскорбительным, если их кто-нибудь в это отверстие. Но для наших женщин это почему-то знак особенного расположения. Мы посмотрим, может быть, у нас до этого дойдет, но вряд ли. И наконец, есть третий способ, но при нем не поговоришь.

– Ага. Я, кажется, догадываюсь.

– Я в это время не то чтобы очень болтлива, но понимаешь… если иногда приходит важная мысль… просто поделиться…

– Да, да. Я понимаю. Скажите, профессор, а там, внутри… там нет ничего опасного? Ну, в смысле зубы… или бездна… Я слышал, что в вашем фольклоре это место имеет очень негативные коннотации…

– Знаете, Игорь, в нашем фольклоре практически все места… ох… имеют негативные коннотации. Игорь! Игорь, дурак! Какое счастье, что можно вот так трепаться, а? У меня ни с кем не было ничего подобного.

Некоторое время они просто лежали рядом, он гладил ее и терся носом о щеку, было ясно, что будет замечательно, и еще более замечательно, но главное – она была необыкновенно хороша и сама это чувствовала, хотя и не видела в комнате ни одного зеркала; даже в ванной оно было маленькое, ровно для того, чтобы побриться.

– Подожди, но мы не обговорили всего разнообразия способов…

– Ка-а-атька… Ты абсолютное чудо, ты в курсе вообще?

– Знаешь, да. Сейчас почему-то в курсе.

– Ну, а когда у вас считается, что уже можно? Что можно как бы приступать?

– Это по готовности. Но вы, кажется, были готовы еще в лифте?

– Мы готовы, всегда готовы… Я ведь член нашей этой организации, как ее… пыынер… знаешь, да? Мы всегда готовы, это годы тренировок…

– Ну что ты делаешь! Дай я сама.

– Ну, сама так сама… Что ты ржешь?

– Ой, погоди… Ты знаешь это выражение – «И он весь превратился в слух»?

– Да. У нас тоже такое есть.

– Ну вот, а в таких ситуациях надо бы – «И он весь превратился в…»

– Да, – сказал он, – это похоже. Поразительно, как ты умеешь чувствовать другого человека.

Некоторое время им было не до острот. Наглой натяжкой было бы утверждать, что с первого же раза она испытала неземное блаженство; точней – ее неземное блаженство было совершенно иной природы, и всякая там физиология никакой роли уже не играла. Было полное совпадение и блаженная вседозволенность, и милая раскрасневшаяся морда с виноватым и восхищенным выражением, и деликатность, столь умиляющая в мужчине, существе низшем, эгоистическом… Это же существо, наверняка инопланентное, думало не о себе, а о ней, продолжая помнить краем сознания, что она у него ненадолго, что все вообще ненадолго, – ее-то часто посещали такие мысли, и именно в постели: некоторым счастливцам почему-то в это время кажется, что они бессмертны, а она никогда не ощущала себя такой смертной, как во время близости. И сейчас тоже. Но сейчас к этой тоске примешивалось другое чувство, истинное счастье – рядом с ней тоже был необыкновенно смертный человек, и то, что они умрут оба, особенно сближало, позволяя принять и этот закон.

– Ну ладно, – сказал он. – Я чайку принесу.

– Чудесно. А потом?

– А потом я тебе покажу, как это у нас.

– Что, иначе?

– Совсем иначе.

– Ну прости, милый. Я тебя грубо изнасиловала, да?

– Что ты, Кать. Очень познавательно, правда. Но у нас совсем не так. Мы сейчас попробуем, только у нас так устроено, что нужно время восстановиться. У вас, наверное, не так, да?

– Так, так. Но вы же, пыынеры, всегда готовы…

– Всегда готовы только почетные пыынеры. А я обычный.

Он пошел в кухню – она успела заметить, что все-таки ей достался замечательный инопланетянин, высокий, тонкий, при этом без всякой болезненной хилости. Теперь было время рассмотреть комнату: она не видела толком названий его книг, но по обложкам угадывала стандартный набор плюс страшное количество фотоальбомов (главным образом природа; мы, значит, изучаем земную фауну?). Компьютер был титанически навороченный, с серебристым корпусом, идеально плоским монитором не меньше двадцати трех в диагонали, четырьмя колонками по углам жилища – вообще чувствовалось, что все деньги уходят сюда. Прочая обстановка была явно хозяйская; Игорь проговорился однажды, что квартиру снимает, потому что с родителями жить не хочет.

Он вернулся с двумя кружками жасминового чая, потом принес миску мелких желтых шариков.

– Это наша инопланетная еда.

– Ну ты подумай! Альфа Козерога, а жрут кукурузу с сыром.

– Это только кажется, что кукуруза. На самом деле это наша секретная вещь, ужасно сытная. Каждый шар возвращает силу и приносит день жизни.

– Ну, дней на пять я себе уже наела.

– Учти, я нарушаю все инструкции, давая тебе такую еду.

– Тебя теперь вызывать ковер, отнимать зверьки, лишать шары?

– Очень быть дорого каждый раз вызывать ковер из Москва на альфа Козерога. Мне присылать секретная шифровка: Юстас, Юстас, где шары? Почему кормить самка? Я выкрутиться, отвечать, что иначе она пожрать я. Быть вынужден утолять страшный посткоитальный аппетит. Не ешь много, станешь слишком толстая, я разлюбить, улететь.

– А работа?

– Какая работа, когда тебя толстая самка преследует сексуальными домогательствами…

– Да, да. Кстати о домогательствах. Ты съел шар? Восстановился? Ты, помнится, хотел мне показать, как это делают у вас…

– Да, сейчас. Обязательно. Я только отнесу чашки.

Аккуратист, подумала она, какая прелесть.

– Ну вот, – сказал он, ложась рядом. – Единственная просьба: не закрывать глаза, у нас это не принято. Почему у вас закрывают глаза, ты не знаешь?

– Вообще догадываюсь. Чтобы не увидеть родное лицо, искаженное гримасой похоти.

– А. Ну ладно. Я постараюсь не искажаться. Тем более, что какая же это похоть?

Дальнейшее было странно, почти статично и все же трудноописуемо.

Надо заметить, что в физической стороне любви вообще много такого, о чем лучше не думать. Всякий человек, которому случалось испытывать сильное физическое притяжение, отлично понимает, что, например, Отелло убил Дездемону не потому, что ее оклеветал Яго, рядом случился соблазнительный Кассио и т.д., а потому, что чувственному мавру с самого начала хотелось задушить хрупкую белую женщину с чертами виктимности, и сама она отлично знала, что этим кончится, и сознательно на это шла, еще отчасти его и провоцируя; настоящая трагедия получилась бы, обойдись Шекспир вовсе без темы клеветы и оставь на уединенном острове только мавра, венецианку и их странные игры, обреченные прийти именно к такому исходу. Ну, может, Бьянка какая-нибудь будет еще бегать по сцене как невольный свидетель или для придания пикантности, набиваясь третьей. Отелло задушил Дездемону не потому, что ревновал, а потому, что хотел задушить, вся полнота его страсти могла реализоваться только так и никак иначе, сильное физическое притяжение непременно вытаскивает из нас нечто такое, в основе совершенно звериное, от чего в конце концов вся любовь сводится либо к диким, с рычанием, ссорам и дракам, либо к столь же диким соитиям и укусам. Вокруг этого наверчено много пошлости, начиная с фрейдистских домыслов насчет Эроса и Танатоса, но у Катьки подобная история была на третьем курсе, она еле вырвалась из нее. Товарищ устроил ей такую «Горькую луну», что до сих пор вспомнить стыдно. Ко всему он был совершенный идиот, претенциозный, дурновкусный, любитель Егора Летова, всякой смертельной мистики и готики: клочок козлиной бороды, серьга, черная косуха, байкерская юность, внезапные приступы ярости с блатным визгом; таскал ее, помнится, по заброшенным кинотеатрам и заводам, был у них целый клуб, ширялись… отчасти, наверное, это объясняет, почему возникший на горизонте наш муж был сочтен спасательным кругом, чуть ли не ангелом-хранителем. Мы побежали тогда в эти уютные, простые отношения – в надежде избавиться от зависимости; и в самом деле, путем отсечения какой-то больной части нашей психики и некоторой, чего скрывать, редукции интеллекта приобрели стабильную семью и душевное здоровье, а трещина, вечно резонировавшая с мировыми катастрофами, перестала напоминать о себе. Но есть еще один вариант душевного и телесного совпадения, редчайший, почти не встречающийся, – мы назвали бы его братством в позоре, товариществом в смертности; так совокуплялись бы разнополые пленники перед казнью или побегом, как друг, обнявший молча друга пред заточением его – но точней, пред заточением обоих. Это и есть настоящая любовь, с которой ничего невозможно сделать. От мавра можно сбежать – потому что в любом мавре есть чудовищная пошлость, даже если он, как Отелло, приличный человек не без чувства долга; с мавром ты всегда животное, и в этих животных соитиях, при всей их жаркой привлекательности, есть та же мерзость, что и в коленчатых, чешуйчатых шевелениях ядовитых гадов, у которых то самка сжирает самца, то самец убивает самку, то оба с аппетитом обедают потомством. Это адская сторона любви, но есть еще райская – товарищество и союзничество, в самом буквальном смысле; ибо союзники – как раз и есть совместно заклепанные во узы. Оба этих крайних

варианта симметрично располагаются по разные стороны от того чистилища, в котором мы с нашим мужем прожили последние три года, забыв, как оно было, и заставляя себя не думать, как могло бы. Все это Катька передумала секунд за десять, в состоянии, которое, как принято думать, исключает всякую способность к соображению; конечно, она ничего этого не формулировала, но представляла себя и Игоря на острове среди то ли огненного, то ли морского буйства, при полной иллюзорности спасения, когда единственным, что могли они предъявить Богу в последний момент, была абсолютная близость, достижение жалкое и сомнительное, в сравнении с которым, однако, меркнут любые свершения. Так можно было любить только среди всеобщей катастрофы, в гибнущей Помпее, за секунду перед тем, как разделить общую участь. Вранье, что человек в это время не думает: напротив, в это время он все понимает, почему и становится грустен после соития. Отсюда же и дурацкое, ничего не объясняющее – «кончил», «кончила»: сначала понимаешь, что все конечно, потом – что все кончено. Катька поняла это со страшной силой: на мгновение ей представился дымный горизонт, выжженные поля с напрасным урожаем, закат на западе и пламя на востоке, сумеречный лес, в котором по случаю конца света пробуждаются самые страшные сущности, дремавшие доселе в дуплах, ветвях, пнях, брошенные огороды, разоренные дома и жалкая кучка беженцев с убогим скарбом, плетущаяся через поселок и усугубляющая кошмар визгливыми, бессмысленными взаимными обвинениями. Это была война, землетрясение, голод и мор, за лесом выло, на железной дороге грохотало, и хрустела под ногами колючая стерня, схваченная первыми заморозками. Таково прикосновение к истине, и именно поэтому вершина любви, чтобы уж не употреблять глянцево-гинекологического слова «оргазм», сопровождается содроганиями, только никто не признается.

Очень может быть, что у других людей все не так, и эта утешительная мысль первой пришла Катьке после того, как к ней вернулась способность различать окружающий мир. В окружающем мире быстро темнело. Наступали сумерки – самая тревожная и неуютная пора.

– И что… у вас всегда так? – спросила она.

– Где?

– Ну там… на планете… Я, кстати, так и не знаю, как она называется.

– Ой, это долго по-вашему. Слогов двадцать. Для краткости будем говорить «у тебя дома».

– И что, у тебя дома всегда так… это происходит?

– Нет, не всегда. Иногда перебираешь тьму вариантов, ничего подходящего нет, – тогда говоришь: «Ладно, пошлите меня, товарищи, на Землю, может, я там поищу». Наверное, извращение какое-то, если среди нормальных людей найти не можешь, а среди потомков всяких флибустьеров сразу бац – любовь. Но я это себе так объясняю, что наоборот, среди потомков флибустьеров иногда вдруг нарождается мутант с удивительными свойствами, на грани святости, и тогда тебя к нему тянет больше, чем к нашим образцовым домохозяйкам.

– Не замечала в себе сроду никакой святости.

– Ну а в чем она должна заключаться? В помощи бедным? Это самое тупое… Я думаю, нужна чуткость такая, на грани фантастики. А больше святость ни в чем не выражается. Все нормальные святые просто очень много понимали, и действовали соответственно. Не наступали на больные мозоли, не говорили гадостей… Святой – это же не тот, кто повсюду ищет обездоленных в надежде их спасти и тем повысить самоуважение. Ау, ау, кто обездоленный?! Святой столько понимает про человечество, что ему всех только жалко. Ничего другого ведь нельзя испытывать, если смотреть с известной высоты…

– Да. Очень интересно. Подожди, но это самое… – Катька всегда ощущала неловкость, не только говоря, но и думая на эти темы. – Ты же почти ничего не делал.

– Я очень много всего делал, но это не сводилось к примитивному шевелению туда-сюда.

– И что это было?

– Ну… все тебе расскажи… Это был наш специальный способ.

– А… Ну да. Короче, мне пора.

– Ты что? – вскинулся он. – Лежи!

– Нет, Игорь, мне серьезно пора.

– Ты что, не можешь остаться?

– Пока не могу.

– А соврать что-нибудь? Завтра воскресенье, в конце концов. Ты могла заночевать у подруги.

– У меня нет подруг. То есть таких, у которых я могу заночевать.

– А Лида?

– Не говори ерунды. Он отлично знает, что Лида с Борей каждые выходные уезжают на дикую природу.

– Господи, ну к родне поехала…

– Ты что, как моя дочь? Не можешь без меня заснуть?

– Теперь не смогу. Ты знаешь, как у нас это серьезно? У нас кто раз это делал с женщиной, тот уже один быть не может. Все равно что руку оторвать.

– Ладно, пусти. Честное слово. Я тебе клянусь, что завтра чего-нибудь придумаю и мы куда-то пойдем.

Она уже злилась, потому что ей было невыносимо тревожно. Прошло часа три, наверное, как она приехала сюда… было ведь уже пять… значит, сейчас около девяти, надо позвонить домой и что-то наврать – но как раз звонить от него домой она почему-то не могла, да и не была уверена, что сможет врать достаточно беспечно. Ладно, по дороге чего-нибудь изобретем. Самое противное, что сейчас надо ехать домой. Ему-то хорошо, он останется здесь, а ей переться через всю Москву с пересадкой на кольце, – требовалось страшное усилие, чтобы встать, отклеиться от него, одеться (всегда терпеть не могла одеваться, со школы, с треклятых зимних пробуждений, при воспоминании о которых и теперь неудержимо накатывал озноб и нервная зевота), и она уже сердилась на него за то, что он останется здесь, в своем раю, а она из него уйдет и весь вечер вынуждена будет притворяться.

– Я тебя отвезу.

– Лежи.

– Нет, что ты… – Он уже встал и натягивал джинсы.

– Я тебя серьезно прошу, останься тут! Не хватало мне еще в дороге мучаться, а потом в подъезде переключаться… Я пока буду ехать, как раз от тебя отойду.

– Слушай, мне так не нравится. Ты будешь ехать, я буду тут представлять, как ты едешь, и сходить с ума.

– Ну представлял же ты раньше, как я еду…

– Дура, то ведь раньше! А теперь совсем другое. Теперь я чувствую все, как ты. У вас что, не так?

– Нет, у нас не так. У нас если бы было так, то половина населения чувствовала бы одинаково, потому что все со всеми.

– Почему, это же потом проходит. Это только пока любовь, а потом ж-жах – и все. И не чувствуешь. Как лампочку выкрутили. Это значит, прошло.

– Господи, ну хоть сейчас не выдумывай. Ты представляешь, до чего мне хреново?

– Очень представляю, я потому и говорю – поехали…

– Нет, Игорь. Нет. Ну пожалуйста, сделай ты раз в жизни, как я говорю, – она сама не заметила, как употребила любимое выражение нашего мужа: он всегда это говорил, настаивая на чем-то. Надо было еще зайти в сортир, привести себя в порядок, элементарно накра-

ситься, – ей все это было тяжело, потому что она уже рвалась из его квартиры, вся уже была не здесь, оставаться – значило длить и длить тоску.

– Ты завтра позвонишь? – спросил он, когда она, не стесняясь его, быстро мазалась перед единственным зеркалом, в ванной.

– Позвоню, естественно, куда же я денусь. Мы, земные женщины, страшно привязчивы.

– А я боюсь, что ты теперь пропадешь и больше не появишься. Вы, земные женщины, ужасно роковые.

– Игорь! – Она закрыла косметичку и влезла в пальто, которое он и не подумал ей подать, так и стоял столбом, загораживая вход в комнату. – Я тебе клянусь всем святым, что никогда тебя не покину по доброй воле. Вот честно. Вы все, инопланетяне, ужасные дураки. Вы думаете, что женщина может злиться только на вас. Пойми ты, я с ума схожу, будь моя воля – я бы вообще никогда не ушла отсюда. Здесь все совершенно как мне надо. Я не на тебя сержусь, ты понял?

– Понял, понял. Но ты правда позвонишь?

– Ты сам можешь позвонить совершенно спокойно…

– Я сам теперь боюсь.

– Ну и правильно. А то наши земные мужчины после этого думают, что уже все можно, – она быстро поцеловала его в щеку.

– А кровать будет тобой пахнуть.

– Ну вот видишь, моя радость. Считай, что я частично тут.

– У тебя есть на такси?

– Не хватало еще деньги с тебя брать за сеанс.

– Ну давай, – он повозился с замками и открыл дверь. Изгнание из рая совершилось, причем вполне добровольно. Внизу собачник уже выгуливал эрделя, Господи, ведь в самом деле четверть десятого! В метро попался вагон, в котором ехали одни монстры: так бывает, причем именно тогда, когда мы особенно уязвимы. Особенно ужасна была пара уродов, с узкими, вытянутыми черепами, с фанатичными черными глазами, оба в рубище, в пропыленных тряпках цвета советских тренировочных штанов, она еще застала такие. Оба мрачно смотрели вперед, крепко держась за руки, – вероятно, брат и сестра, жертвы пьяного зачатия; ну правильно, что ж – уроды должны держаться вместе, крепче хвататься друг за друга, откуда нам взять другую опору? На ВДНХ вошли отец с дочерью, ей лет двадцать, ему под пятьдесят, он толстый, и она толстая, бородавчатая, в мужских ботинках, вся в него, несчастная, деться некуда, всем некуда деться. Достали книжки, у него первый том Марининой, у нее второй. На проспекте Мира почему-то была закрыта пересадка – она не сумела перейти на кольцо, пришлось ехать до Октябрьской, в вагоне никто даже не зароптал – несчастные, приплюснутые люди, кол им на голове теши – слова не скажут, все так и надо. Доехала до Профсоюзной, схватила такси, грузин попался молчаливый, печальный и с виду даже рыцарственный – знала она эту рыцарственность, сплошной винно-шашлычный перегар под ветшающей оболочкой национального колорита, – и все время, пока они ехали мимо темных тополей улицы Вавилова, мимо спешно разбираемого Черемушкинского рынка, оголенный остов которого жалобно торчал слева, – она спрашивала себя: и что теперь будет, и как теперь будем жить?

– И как теперь будэм жыть? – обреченно спросил грузин.

Она уставилась на него с внезапной благодарностью: нет, все-таки в них что-то есть, какая-то восточная чуткость.

– Попробуем как-нибудь, – Катька попробовала улыбнуться и даже подмигнула. – Не такое бывало, в конце концов…

– Нэт, такого еще не бывало.

Прямо мысли читает, ужаснулась она.

Только тут Катька осмелилась включить мобильник: Сереженька, вероятно, уже обзвонился. Сообщений от него не было. Она позвонила домой – как-то самортизировать неизбежный скандал, невинным голосом объяснить, что задержалась, но обнаружила, что кончились деньги; вот так всегда, в самый неподходящий момент.

– Связь у многих нэ работаэт, – сказал грузин.

– Да, черт-те что творится… У вас тоже что-то случилось?

– Нэт, – грустно улыбнулся он, – ничего сверх абычного. Все, что у всэх.

– Ну, если у всех, то как-нибудь.

– Как-нибудь, как-нибудь… Вы не с Востока сама?

Из-за черных волос и некоторой смуглости, особенно заметной в сумерках, ее, случалось, принимали за гречанку или турчанку, – курносый российский нос, конечно, путал карты.

– Нет, нет. Я из Брянска вообще.

– А… Ну, сейчас время такое, что не смотрят. Могут и из Брянска…

– Что могут?

– Все могут, – мрачно сказал он. Видимо, у него был тяжелый опыт отношений с милицией.

Лифт не работал, Катька взлетела на свой пятый, некоторое время переводила дыхание перед дверью, искала внутренний выключатель – действительно, вот бы кнопка, Ури, Ури, где у него кнопка! – наконец решилась и открыла дверь. Кто бы думал, что на нас так подействует первая измена; что значит пять лет добропорядочности. Наш муж, наш Котенька, как называли мы его в хорошую минуту, наш Сереженька сидел перед телевизором и мрачно смотрел российский боевик: менты с овчарками, руины торгового центра в Сокольниках, штук двадцать машин «Скорой помощи».

– Котя! – крикнула Катька с преувеличенной бодростью. – Кот, ты не представляешь, какая красота! Я так нагулялась… прямо как в детстве…

– Я тут с ума схожу, – произнес наш муж мрачно, не поворачивая головы. – Ты хоть позвонить могла?

– Кот, честно, деньги кончились, а карты там нигде не купишь… Ну что такое, в конце концов, всего десять…

Тут только она взглянула на любимые настенные часы и поняла, что идет не боевик – показывали десятичасовые новости; с тех пор, как сцены насилия с семи утра до десяти вечера были запрещены, – имело смысл смотреть только десятичасовые, потому что во всех остальных выпусках ни о терактах, ни о захватах не говорили, шла сплошная молотьба и дружественные визиты. С десяти прорывало – на Первом поменьше, на России посервильнее, на НТВ поэксклюзивнее, а тарелки у них не было: за тарелку теперь полагалось платить пять тысяч в месяц, и хорошо, что рублей.

Торгового центра «Сокольники» больше не существовало. Он был отчетливо виден в разрезе, со второго этажа свисали синие тряпки – Катька, ужаснувшись, узнала форменную одежду продавцов. Внизу, перед входом в спортивный отдел, обычно торговали белорусскими велосипедами, и теперь справа от входа громоздилась груда изуродованных, восьмерками выгнутых колес.

– Воскресенье, – сказал муж. – Все с детьми пошли… Рассчитали, сволочи.

– Слушай, когда это?!

– Перед закрытием, в семь. Я звоню тебе, звоню, связь не работает… Во всем городе, говорят, проблемы с мобилами.

– Ну и кто сделал? Что хоть говорят-то?

– Что они говорят… Говорят, что тридцать человек погибли и пятьдесят ранены. Ты можешь себе представить, сколько там на самом деле?

Разборок не будет, с облегчением подумала Катька, он слишком занят другим – но тут же мысленно закатила себе оплеуху: сволочь, о чем ты думаешь?!

На самом деле до нее просто никак не могло дойти, что произошло. Теракты случались в последнее лето чаще обычного, в августе все спецслужбы встали на уши, чтобы не оправдалась примета насчет рокового месяца, – и до двадцать пятого все было тихо, но потом случился захват Маклаковской АЭС, чудом не приведший к всеобщему бенцу только потому, что не сработало взрывное устройство (сказали, естественно, что были учения, – а город подумал, шахиды идут). Убрали Патрушева, закрыли «Огонек», попавший под раздачу без всяких причин. Сентябрь прошел относительно тихо, она уже думала – очередная волна нескоро, но оказывается, это они набирались сил.

– Ответственность взял кто-нибудь?

– Говорят, какой-то псих из Турции разместил на сайте… Его проверили – вроде ничего нет. Я боюсь, теперь сеть вообще закроют к фигам…

– Ну, всю-то не закроешь.

– Ты говорила, что и рынки не закроешь.

– Господи, Господи! – Катька вгляделась в экран. – Сколько же там рвануло?

– Говорят, было четыре бомбы на двух этажах. По пятьсот грамм.

– Слушай, кто у нас живет в Сокольниках? Конышев, кажется?

– Конышев на даче, у него автоответчик.

– Черт… Что же будет…

– Не знаю, что будет. Валить отсюда надо, вот что. – Он встал, и Катька не могла не заметить, какой он маленький. – Валить к чертовой матери. Они так и будут на все внешние вызовы отвечать внутренними зажимами. Еще раз рванет – вообще разговаривать запретят. Я не могу, чтобы у меня ребенок рос в этом аду.

– Ну и куда ты свалишь?

– Хоть в Африку, хоть в Антарктику. К черту лысому. Не можете ни хрена, кроме как свой же народ пугать, – все, не обижайтесь, если одни останетесь.

Он тер затылок – затекла шея, – и отчего-то не смотрел на нее, а все в пол. Может, чувствует что-то? Впрочем, что теперь…

– Катя! – сказал он с внезапным пафосом. – Я тебя очень прошу! Никуда не ходи одна! Сама видишь, время такое, черт-те что может случиться…

– Да куда я хожу, кроме работы? Гулять иногда…

– Я не знаю, куда ты ходишь. Я вообще не претендую знать, куда ты ходишь.

– Кот! Ну Кот! Ну что ты заводишься, честное слово…

– Я завожусь? Это я завожусь? Я, кажется, вообще ни слова тебе не говорю. Я только хочу сказать, что сейчас не время. Понимаешь? Не нужно сейчас надолго уходить из дома. Я свинья, конечно, тебе со мной скучно, я занят только собой и все понимаю. Честное слово, я постараюсь…

«Еще бы мне не хватало, чтобы ты сейчас занялся мной», – подумала она обреченно, уходя в кухню. Но он занялся. Весь вечер он ныл, а ночью – видимо, странным образом возбудившись на фоне общего испуга и катастрофичности, – полез на нее, и у нее не было никаких отмазок. Вероятно, правы авторы, полагающие, что счастливая в любви женщина испускает флюиды, приманивающие самцов. Невыносимо было не только то, что досталась я в один и тот же день лукавому, архангелу и Богу (только Бог медлил, но, судя по динамике, скоро приберет): невыносимей всего было то, что полунасильственным соитием с мужем начисто уничтожалось впечатление от инопланетного волшебства, невоспроизводимого, конечно, ни с кем другим. Становилось вообще непонятно, зачем люди живут вместе, –

как после тонны графомании, прочитанной где-нибудь в сети или в современном журнале, перестаешь понимать, так ли уж хорошо «Я помню чудное мгновенье». Чудное мгновенье растянулось минут на двадцать, муж старался. Катька лежала как бревно, но он и не нуждался ни в чьей реакции. Вскоре после решительного момента вошла, пошатываясь, испуганная Подуша; ей приснился кошмар. Пришлось заново укладывать, успокаивать, петь. Сереженька храпел. Катька спела дочери «Было время, процветала в мире наша сторона». Дочь во сне была похожа на Сереженьку. И было еще что-то, важное и неприятное, о чем надо было подумать.

«Семь часов, – вспомнила она. – Что мы делали в семь часов?».

3.

Так началась для Катьки жизнь, которую она не могла бы назвать ни райской, ни адской – и которая напоминала скорей улей и сад из финала любимой повести; а того верней – садик товарища Сталина, под почвой которого клубился адский жар, а на грядках благоухали радужные розы. Рай и ад спелись, сплелись и создали идеальную среду для беззаконной любви. После взрыва в Сокольниках понеслось: то ли последний и решительный штурм, к которому готовились все эти годы, то ли первая атака объединенного ислама, то ли – и эта догадку было уже не отогнать, – хаотическое осыпание самой системы, в котором радикальный ислам был уже не виноват ни сном, ни духом.

Бабахало по два-три раза в неделю, то в Москве, то в области, то на южных окраинах, то в Сибири, то на Дальнем Востоке, в непредсказуемых местах и без всякой логики. Всего ужасней были традиционные внутренние репрессии в ответ на внешние атаки – словно паралитик не в силах был отогнать ос и лупил самого себя по тем местам, до которых мог дотянуться. Зрелище было не столько пугающее, сколько жалкое. Никто уже не сомневался, что государство недееспособно, обречено и рухнет в самом скором времени – тем более, что взрывать оказалось на диво легким делом. Взрывчатки хватало, шахиды уже не требовались – радиоуправляемый заряд в сумке взрывался во время часа пик, на концерте, в музее, среди ночи падал жилой дом, в Ульяновске причиной взрыва называли утечку газа, а в Братске – тектонический сдвиг из-за внезапного таяния мерзлоты; случалась двух-трехдневная пауза, и бабахало опять, на этот раз в троллейбусе, и вот что мучило ее вдвойне – люди научились с этим жить, приспосабливаться; человек опять доказал свою исключительную адаптивность – из обреченных домов вдруг среди ночи, за час до взрыва, высыпали жильцы, иногда даже успевали вызвать милицию, найти и обезвредить взрывчатку; в заминированный троллейбус садилось меньше народу (интервью со счастливцами, избежавшими судьбы, почти ежедневно печатала «Вечерка» – «И тут-то я и почувствовал: нехорошо! Ну его, думаю, пойду пешком. Надо бы мне, конечно, в милицию – но кто бы поверил?!»). Народным бунтом не пахло, хотя в иное время двух таких терактов с лихвой хватило бы для низвержения власти, – но Россия подтверждала еще одно страшное предположение, доказывая свою неодолимую природность: в иное время довольно было крошечного толчка, чтобы обрушить всю конструкцию, – теперь же все словно спали, и конструкция медленно гнила, обваливаясь по частям. Если бы вся она сгорела в одночасье, что-то стальное в ней могло уцелеть, – но в болоте перегнивает любое железо. Не было не только революции, но и сколько-нибудь заметного ропота; для ропота был не сезон, и никакие взрывы не могли ускорить время, как не может взрыв или пожар на волжском льду ускорить приход весны. Эта полная независимость истории от человека была всего невыносимей, но нельзя ходить по кругу вечно – круг изнашивается; это теперь и происходило, и террористы, скорее всего, были действительно ни при чем.

Островки нормальной жизни среди всего этого сохранялись – магазины по-прежнему торговали, хотя ассортимент стремительно скудел и еда все чаще попадалась гнилая, порченая; кое-где платили зарплату, кто-то качал нефть (и ни один нефтепровод еще не взорвался, подтверждая конспирологическую теорию о том, что все это «из-за нефтянки», хотя при чем нефтянка – никто объяснить не мог). Самое же странное, что продолжал выходить «Офис» – из-за чего Катьке все чаще приходило в голову, что журнал как-то связан с террористами, может, служит им крышей, мало ли, потому что прочие издания лопались с той же скоростью, с какой плодились в девяностые. Дольше других продержался глянец, и это было по-своему логично – в гибнущей стране все наоборот, законы переворачиваются, и наиболее жизнеспособным оказывается никому не нужное. Наверное, у этого было и материальное

объяснение, – глянец кого-то прикрывал, ширмовал, шифровал, – но Катька прислушивалась к одному: к гулу гибели; и не сказать, чтобы этот звук ей вовсе не нравился.

В конце концов, только так она и могла быть счастлива. Нелюбимый ребенок с коллекцией незаживших душевных язв, она резонировала только с катастрофой – и надо было случиться, чтобы разгар катастрофы совпал с первой и последней любовью, с месяцем бурного счастья, на фоне пышного увядания и вулканического жара! Голос совести подсказывал, что как раз теперь-то и надо всю себя отдавать семье, оберегать ребенка, утешать мужа, в одночасье лишившегося работы и совершенно потерявшегося (целыми днями лежал на диване, вцепившись в Подушу и не выпуская ее гулять, – няньку рассчитали, на нее уже не хватало), – но только истинные святые способны заботиться о ближних бездны мрачной на краю: люди с трещинкой, с резонатором, – спешат догулять закатные денечки, потому что втайне ждали этого часа всю жизнь, и тратить его на каких-то ближних преступно. На ближних мы достаточно пахали во времена относительного благополучия, когда подыхали со скуки, невыносимо томясь смутной внутренней тревогой; теперь стало ясно, чего мы тогда боялись, и уж теперь увольте – дайте нам вволю погулять на руинах, это наша самая естественная среда. Наш муж каждое утро начинал с разговора об отъезде, не признаваясь даже себе, что отъезд давно немыслим – вот уж две недели как введено чрезвычайное положение, выезд только по специальной визе, куча разрешений от МИДа, Совбеза, ФСБ, уважительная причина, профессиональная необходимость… Разом свернулись все обменные программы, в два дня обанкротились турфирмы («Офис» порядочно потерял на этом – реклама туроператоров шла в каждом номере), а главное – никто не мог объяснить, за каким чертом понадобилось возводить этот занавес на руинах. Все было тем абсурдней, что действовал так называемый принцип обыска – всех впускать, никого не выпускать; въезд в страну оставался совершенно свободным, и любой шахид мог попасть в нее без проблем, – власть словно заботилась о том, чтобы было кого взрывать: обидно же восточному гостю приезжать на пустое место.

Поначалу родители звонили из Германии через день, потом реже – они долго не могли взять в толк, как такое может продолжаться неделями, и никто ничего не в силах остановить; им все еще казалось, что к ситуации приложимы нормальные критерии. В конце концов, в Германии тоже бывало, и не один раз, но чтобы вот так, лавиной… Мать умоляла Катьку не спускаться в метро, – она и в Нюрнберге жила брянскими мерками, будучи уверена, что в Москве можно всюду добраться автобусом, а то и пешком, к подземке же прибегают исключительно для быстроты. Отец недоумевал, чем занято правительство и почему молчат демократы, в особенную влиятельность и западные связи которых он свято верил с самой перестройки; Катька лишний раз убеждалась, что перестроечные представления оказались феноменально живучи, – это была последняя и самая сладостная волна государственной пропаганды, ибо государство, проповедующее распад, обладает удвоенной силой, освящая своим авторитетом давно желаемое. Распад, как выяснилось, был тайной мечтой почти всего населения, потому что созидать давно было незачем, нечем и, в сущности, себе дороже. В этом смысле она не была исключением. Может, все потому и сносили нарастающий террор так покорно, что в глубине души с самого начала были уверены в заслуженности происходящего, в естественности именно такого развития событий; с той же покорностью сносили ведь и посадки, и разорения, и обманы – начиная робко возмущаться, лишь когда гнет слабел. Слабый гнет как бы сомневался в своем праве – и робкой власти ставилось в строку всякое лыко, тогда как сильной прощалось и вдесятеро большее. Теракты терпели потому, что за ними чувствовали власть, с которой не пошутишь, – неважно, родную или чужую; именно поэтому кровавый режим, никого толком не окровавивший, долбали все кому не лень, дополнительно презирая его за вялую реакцию, – а на террористов посматривали уважительно, относясь к их мотивам с пониманием. Солдатские матери перегораживали Твер-

скую, требуя остановить войну в Чечне, – хотя война давно уже шла не в Чечне, потому что там зачищать было больше некого; военные действия третий год кряду сводились к взяткам на дорогах и к посильному ограничению рамзановской мафии. С каждым новым взрывом все уверенней обвиняли власть и все охотнее сочувствовали собственно противнику – ибо противник казался опасней; Катька давно знала, что истинное свободолюбие заключается в выборе сильнейшего противника и переходе на его сторону. Власть порывалась, конечно, доказать и свою силу, лупя по тем, кто был под рукой, – посадили пару химиков, передавших Китаю подшивку институтской газеты двадцатилетней давности, дали десять лет самарскому ректору-взяточнику, разоблачили хищения шелка на парашютном заводе, – но даже если бы начали сажать за курение на улицах, ввели налог на русский язык и выслали из Москвы всех гагаузов, иррациональность уже не обернулась бы величием.

Но величием не пахло, потому что все они были такие дураки! Эта страна – ладно, напишем «наша», а вообще я предлагаю вам компромиссный вариант «эта наша страна», – была им совершенно не по масштабу, и они инстинктивно старались ее сократить, потому что сами подрасти не могли по определению. Им не нужно было столько территории, столько истории и столько людей; из истории они помнили только объединяющий всех сорок первый год, непонятно как превратившийся в сорок пятый, территорию поделили между условным Евросоюзом и условным Китаем, а с людьми все получалось само собой. Они, кажется, уже и не возражали. Вероятно, они сами не отдавали себе в этом отчета, но в душе им явно не хотелось и дальше участвовать во всей этой ерунде, – поэтому любые их телодвижения по собственному спасению и обустройству были такими вялыми, вязкими, с тайной надеждой, что все равно ничего не получится. Что до социального протеста – в нем больше не было нужды, ибо, успешный или безуспешный, он лишь ускорял движение по тому же кругу, и потому лучше, честней, было просто рассыпаться в прах; что, в общем, и делалось. Никто не знал, за что и почему взрывают страну – сама ли она себя минирует или невидимый Шамиль рулит процессом из туманных гор, – но все знали, что так и надо.

Страннее же всего было то, что происходило с самой Катькой. На нее навалилась необъяснимая глухота: ни страха за собственную жизнь, ни скорби по отнятой чужой уже не было. Проще всего было сказать, что превышен болевой порог, а на войне – как на войне: каждого оплакивать – никаких слез не хватит. На войне, однако, есть хоть то утешение, что наносишь ответный удар, посильно бьешь противника – здесь же и противника не было видно, только одноногий слал по интернету ехидные письма; отвечать было некому и некуда, и это придавало смертям в метро и в спящих домах анонимность и неотвратимость Божьей кары. Не Богу же было мстить – но то, что он это допускал, обесценивало любую молитву. Взрывы были ответом на силу и слабость, ультиматумы и переговоры, угрозы и признания вины; взрывы не имели прикладной, низменной цели вроде шантажа, устройства переговоров или чьей бы то ни было независимости. Шла война на уничтожение, без условностей и условий, – и оказалось, что обреченных жалеть нельзя. Все так же печатались в газетах репортажи с похорон и интервью с родственниками, все так же рассказывали эти родственники о том, каким изумительным человеком был покойный (по разорванной в клочья студентке рыдал жених-менеджер, о разбившейся в самолете счастливой молодой паре скорбели родители), но разделять эту скорбь стало невозможно – не потому даже, что количество жертв превысило все мыслимые пределы, а потому, что по законам военного времени к скорби должно было примешиваться новое чувство – жажда мести. Без этого она обесценивалась, лишалась смысла, бесила, – но мстить было некому, угрожать нечем; азиатские гастарбайтеры, сотню которых успела по окраинам растерзать толпа, убрались из Москвы, и вымещать ненависть стало вовсе уже не на ком. Катька и себя не жалела: у тех, кого приговорил Бог или столь же незримая сила, есть лишь обреченность да глухое чувство давней вины, за которую пришла наконец очередь расплатиться.

Вот оно! Каждый знал за собой изначальную вину, а потому никто в России никогда не дивился жестокости расплат. В чем вина – не взялся бы сказать и самый пристрастный историк, но без ее бремени нельзя было бы влачить такую жизнь и принимать такую смерть. Иные хитрецы пытались подменить ее жертвенностью, высшим будто бы российским предназначением, – но жертва хороша, когда она красива, а вечно гнить в безропотном терпении, ропща при каждом его послаблении, было куда как неавантажно. Катька всю жизнь прожила с клеймом виноватой, да и всякий местный житель, у кого наличествовали зачатки ума и совести, вечно томился неясной виной – просто за то, что жив; все было по заслугам, все ждали именно такого, а потому вместо ужаса и скорби была одна глухая тоска да смутная надежда на мгновенную смерть или небольшую рану.

Так все это и длилось, и с каждым днем Катька все тесней и необратимей срасталась со своим инопланетянином. Времени у него теперь хватало – в последний месяц компьютеры не ломались, будто аппаратура тоже жила в напряжении, как на фронте, где никто никогда не болел.

Каждое утро Катька просыпалась в невыносимой тоске, в центре которой, как сладкий комок мороженого среди черной кофейной горечи, все-таки была мысль об Игоре, и она хваталась за эту мысль, но тоска по контрасту делалась только горше. Особенно невыносимо было с утра, еще в тумане, тащить Подушу в детсад. Катька вообще ненавидела просыпаться раньше девяти, куда проще ей, как всякой сове, было бодрствовать до четырех утра за срочной работой, – а тут, в семь утра, надо было срочно отрывать голову от подушки, прыгать под горячий душ (по средам горячей воды не было – начали по случаю террора внезапную профилактику, черт бы их драл, при чем тут профилактика, где террор, а где трубы?!), расталкивать сонную Подушу, одевать ее, несмотря на рыдания, тащить за собой в гору, к детсаду, – хорошо еще, в нем нашлись места после того, как комитет матерей потребовал выгнать всех «черных», включая одного действительно негра, отпрыска чьей-то любви со студентом института Лумумбы. Куда дели этих восточных детей – никто не знал, родители забрали их безропотно, опасаясь худшего.

С утра, с раннего пробуждения, с бессмысленного насилия над собой (кто придумал эти детские сады с восьми утра?!) начиналось отвращение ко всему. Сереженька порывался встать, помочь, сварить кофе – но ронял голову и засыпал опять. Из него в последнее время будто вынули позвоночник – воли нашего мужа не хватало даже на то, чтобы принять душ перед сном. Катька, однако, не завидовала его праву оставаться дома – до вечера он был теперь предоставлен себе, накручивал круги по квартире, выходил попить пива с мужиками, сидел перед телевизором, бессмысленно глядя непрекращающиеся «Фабрики звезд», которые, в порядке борьбы с ксенофобией, вели Дадашева с Кушанашвили, и чем смотреть все это в тупом ожидании худшего – а ждать лучшего перед таким телевизором не приходилось, – предпочтительней было отаскивать дочь в сад, верстать никому не нужный «Офис» и по вечерам три часа в сутки окончательно сходить с ума, потому что ясность рассудка возвращалась только на эти три часа, когда она была с Игорем, – и тогда она понимала, куда все катится.

Катька оставляла злобной воспитательнице ноющую Подушу, шла к остановке, и взгляд ее падал на новые и новые приметы распада, словно теперь, резонируя с катастрофой, она не могла замечать ничего другого. Около дома напротив появилась полупарализованная собака, шпиц, кем-то выброшенный из-за болезни и старости, – этому шпицу дети построили в кустах картонный домик, выносили ему туда объедки… Около другого дома уже года три ржавел старый «Запорожец» – хозяин, вероятно, умер, а наследникам машина была не нужна, и Катька, проходя мимо него еще до встречи с Игорем, всякий раз думала, что вот и она, как тот «Запорожец» – хозяин умер, это чувство смерти хозяина тайно сопровождало ее каждое утро после отъезда родителей, а кроме хозяина, она никому особо не нужна;

теперь этот «Запорожец» взломали и доламывали по частям, продавливая крышу, отрывая руль, внутрь нанесло листвы… Однажды утром Катька чуть не разревелась, увидев на кусте забытую детскую варежку. Страшно было подумать, что начнется зимой, когда все это беззащитное убожество будет стыть на ледяном ветру.

Но среди всего этого был Игорь, к которому она ездила теперь уже ежедневно, не заботясь о том, чтобы выдумывать объяснения для мужа; она все равно возвращалась домой каждый вечер, потому что остаться у Игоря ночевать – значило внести новый вклад в общую энтропию. Объяснить она ничего не могла бы – просто знала, и все. По этой же причине нельзя было сейчас уходить от мужа, лишившегося вдобавок работы и не выпадавшего из прострации, – это было бы уже полное предательство, за которое ее и всю страну должны были окончательно покарать. О, конечно, она ни в какой мере не ощущала себя праведницей, ради которой могли пощадить Гоморру, – тем более, что и Гоморру эту впору было звать «Геморра», до такой степени жалок и вонюч был ее распад, ничего торжественного, по грехам и кара; но чувство, что на нее смотрят, странное чувство предстояния за все эти осколки и тряпки, жалкие, но и трогательные, как требуха, которую выносили шпицу, – все-таки не оставляло ее, и нельзя было ничего сделать. Именно сейчас нельзя было ничего менять.

Иногда, когда уж вовсе невмоготу было терпеть (да и в метро заходить было все страшнее, рванет еще, к чертям), они брали машину до Свиблова – не так уж далеко от «Алексеевской», близ которой размещался «Офис».

– А чего ты не выучишься водить?

Они целовались на заднем сиденье, не стесняясь частника.

– Мне нельзя. У меня слишком силен инстинкт межпланетчика, космолетчика.

– Что, можешь слишком разогнаться?

– Да не в том дело. Это огромная, сложнейшая система – космолет. Обязательно нужно каждый день тренироваться, иначе навык уходит. У меня в компе тренажер.

– Покажешь?

– Никогда в жизни. Секретность.

– А машина что, сбивает навык?

– Ну конечно. Я, как только сяду за руль, буду сразу искать рядом с ним демпфекс, трансмутатор, кузельвуар… Без пумпинга вообще не могу за рулем находиться.

– Пумпинг – это такой… с пумпочкой, да?

– Почему, в последних моделях без пумпочки. Она же нужна была только для экстренного зависания над территорией, если что-то интересное внизу. А в последних моделях само зависает, когда что-то интересное.

Мимо пронесся серебристый мерс – почему-то с вешалкой внутри; на вешалке красовалось минималистское вечернее платье. За рулем сидела азиатка с длинными черными волосами и яростно что-то орала в крошечный мобильник – выражение лица было самое чингисханское. Некоторое время они глядели вслед мерсу, потом переглянулись.

– Таргет-групп проехала, – сказала Катька. – Мечта Дубова.

– Знаешь, – задумчиво произнес Игорь, – если бы у меня был АКМ… я бы сейчас доказал, что выражение «таргет-групп» имеет, помимо переносного, вполне буквальный смысл.

– Что, и не жалко?

– Да чего там жалеть. Я уверен, она внутри пустая. И свиномарку бы ей разнес к чертям собачьим…

– Как ты сказал? – Катька захихикала. – Свиномарка?

– Ну да. У вас же тут дикая путаница в языке. Есть два нормальных слова: иноматка и свиномарка. Иноматка – это источник энергии для инопланетян, мы подлетаем к ней кормиться, когда слабеем. Кстати, расположена в «Ротонде». Помнишь, там много было наших? Вот толстая тетка за стойкой – это и есть иноматка, я к ней подошел якобы расплачиваться

и быстро подзарядился. А свиномарка – это тяжелый бронированный автомобиль с пятачком, в нем ездят свинтусы. Количество свиномарок в городе – критерий его готовности к уничтожению.

– И что, решение принимают у вас?

– Да зачем, Господи? Мы же вообще не вмешиваемся. Просто, если количество свиномарок близко к критическому, нам надо активизироваться и искать тех, с кем должны работать эвакуаторы.

– Слушай… А весь этот кошмар как-то связан с количеством свиномарок в городе?

– Конечно. Только не напрямую. Там все сложно. Какая-то формула есть, но это прогностики занимаются. Что-то вроде, не помню… квадрат числа свиномарок поделить на три и прибавить 666, и будет точная дата окончательного конца. Где-то за неделю до нее надо собирать людей, пока паника не началась, – и туда.

– Куда?

– Я же тебе говорю, там двадцать слогов. Условно говоря, ко мне домой. Куда мы, собственно, и приехали.

Иногда она психовала и у него дома, где вообще-то чувствовала себя в блаженной изоляции от всего окружающего ужаса, да и от себя самой, – тут не надо было ничего решать и никого бояться; но бывали дни, когда она не могла сразу успокоиться и тогда просилась за компьютер – не рисовать, просто поиграть, чтобы расслабиться. Он никогда не разрешал – это была одна из самых странных странностей.

– Ты же в самолете не просишь, чтобы пустили порулить.

– А что, у тебя тут… жизнеобеспечение?

– Ну конечно. Он же меня поддерживает во всем. Ты одну кнопку не так нажмешь – а у меня анализатор воздуха запорется, другую нажмешь – пищеварение отрубится…

– Он же выключен.

– Это монитор выключен. А сам, видишь, мигает. Это он в спящем режиме, а в бодрствующем тебе его видеть нельзя.

– А почему клавиатура русская?

– А где я нашу возьму?

– Ну… с собой привез бы…

– Я и так до хрена с собой привез. У нас каждый килограмм на счету. Он отлично управляется и с русской.

– Ну дай я хоть в «саперчика» сыграю!

– Ты что, с ума сошла?! У нас сапер – одна из главных программ! Ее можно открывать, только если наверняка выиграешь.

– А если нет?

– А если нет – это самоликвидация ракеты! На чем я домой полечу?!

– И где она у тебя сейчас? – Катька заглядывала под диван.

– В надежном месте. Все тебе покажи…

…И если бы нашлось потом спросить Катьку – ну, а главным-то что было, еще тогда, в октябре? – она задумалась бы ненадолго, в своей манере, кусая нижнюю губу, а потом тем решительнее, тряхнув головой, ответила бы: счастье, счастье. Нам не случайно пришла мысль о чистом кислороде. Хотелось надышаться, впустить в себя как можно больше, насытить легкие, кровь, кожу. Сравнение с чистым кислородом встречалось лишь единожды, в прозе одного несчастного гомосексуалиста, несколько подвинутого на имперских идеях, как многие из них, – нас должны преследовать, нас надо иметь, иначе все рухнет, – но о природе любви он писал точно, какая там разница, к кому. Особенность любви в том, что ее не вообразишь, как нельзя вообразить, скажем, горячую ванну. Есть вещи, которые словами не описываются, и они-то наиболее драгоценны. Как описать, что в комнате включили свет?

Вошли, включили, все стало уютным и жилым, появилась возможность жить, надежда, гармония… Вот так и тут – включили свет, и началась жизнь, а когда ее не было, о ней и помыслить было нельзя. Все стало подсвечено, на все страхи и обиды нашлось универсальное «А зато», включился дополнительный двигатель – демпфекс, трансмутатор, кезельвуар. Никакое воображение, даже самое сильное, никакая память, даже крепчайшая, не заменит присутствия живого человека, любящего нас. Человек, любящий нас, поил нас чаем, включал компьютер, играл с нами в игрушки-симуляторы, раздевал нас, долго и с умилением смотрел на нас. Любовь и есть, в сущности, восторг и умиление при виде другого человека, но этого-то наиболее человеческого чувства мы почему-то давно не встречали не только на собственных путях, но и вокруг. Как левые и правые в российской политике всегда умудрялись промахиваться мимо огромного главного, с издевательской точностью попадая в десятистепенное, – так и люди вокруг интересовались всем, кроме людей, хотя ничего интересного, кроме них, на самом деле просто нет. Впрочем, может быть, он так человечен потому, что сам – нечеловек, и чтобы любить меня, надо быть не таким, как я? Говорила же одна злая женщина: я не Господь Бог и не кошка, чтобы любить людей. Поэтому никто никого и не любит, что инопланетян пренебрежимо мало. Но нет, и это неправда – разве можно любить только высшее или низшее существо? Любить можно только равное, а где тут найдешь равных… таких же бедных…

– Учти, – сказал он однажды, – со мной тебе ничего не угрожает.

– Почему? По-моему, наоборот. Я все время боюсь теперь. Вдруг как-нибудь проговорюсь, что-нибудь выплывет, кто-то догадается… Ты меня сделал гораздо уязвимей, если хочешь знать. Я была как цыпленок в яйце, а теперь вылупилась. И теперь мне со всех сторон угрожает черт-те что.

– Пока я с тобой, – серьезно повторил он, – с тобой ничего не будет.

– Ага. Если это шантаж, то я ведь и так не собираюсь уходить.

– Считай, что шантаж. У вас всегда называется шантажом то, что у нас называется гарантиями.

Он ничего не рассказывал о себе. Это и хорошо, она много рассказывала сама, – чего там, она всегда лучше умела говорить, чем слушать. Очень много было нерассказанного. Брянск, бабушка, которую она любила больше матери, брат Мишка, с которым никогда нельзя было разговаривать – он принадлежал к трудной породе постоянно защищающихся людей, уязвленных с самого начала и непоправимо, и в математику свою ушел только потому, что она идеально защищала от всего, позволяла быть высокомерным, отрицать все, чего нельзя просчитать… Ты знаешь этот тип? Их же полно на самом деле. Я их очень часто наблюдаю в ЖЖ. Извини, программеров среди них тоже страшное количество. Специфический фольклор, многословные шуточки, насквозь рациональное мышление, чистая механика, талмудизм, каббала… Кстати, они часто евреи. Тебе никогда не приходило в голову, что Бог, которого они вечно обвиняют в нетерпимости, тоталитарности и всем прочем, – гораздо терпимее, чем они все? Потому что в их мире просто нет места тому, чего они не понимают. Говоря, что они не верят, – они ведь на самом деле отрицают НАШЕГО Бога, а своего не дают тронуть никому. Страшно подумать, какой у них Бог. Что-то совершенно безвидное, безводное… Мишка вечно издевался, что я хожу в церковь. Он сам не мог там и минуты вынести. Вечно приставал с вопросами, как Бог терпит.

– Что?

– Ну, все это… У него была к нему масса претензий. Вот к реальности без Бога – никаких претензий, а к Богу – масса. Улавливаешь? У меня почему-то никогда не было вопроса, почему он терпит. Я же понимала, что он не терпит. В конце концов, есть я, мне вложено какое-то нравственное чувство, которое было бы совершенно неоткуда взять, если бы мир

только этим, вот только этим, – она показала на окно, – и ограничивался. Сидит человек в окопе и спрашивает: как это маршал Жуков все это терпит?!

– Ты что, видишь его похожим на маршала Жукова?

– Нет, конечно, Боже упаси. Я думаю, он такой… капитан Тушин.

– Но тогда над ним должен быть еще кто-то?

– Обязательно. Вот такой, который этим рисуется… математикам… Суперкомпьютер, черный метеорит, башня в пустыне. Я всегда понимала, что есть человеческий Бог – и Бог всего остального, и к человеческому нельзя приставать с претензиями за все остальное. Если что-то терпит – значит, руки не дошли. С такими бойцами – какие вообще вопросы?

– А брат давно уехал?

– Пять лет. Три года назад родителей забрал. Очень успешный, я не удивлюсь, если он Нобелевку получит. Мишка в принципе очень приличный человек. Я просто никогда не могла с ним разговаривать. Слушай, а у вас верят во что-нибудь?

– Да у нас почти все, как у вас. В этом смысле точно.

– И как по-вашему Бог? Тоже тридцать три слога?

– Нет. У нас несколько слов на самом деле.

– В смысле? Отец, сын и дух святой?

– Нет, немножко не так.

– А как? Язычество?

– Тоже нет. Ну, это трудно объяснить… В принципе почти как у вас – троеипостасность. Только у вас отец, сын и дух, а у нас отец, мать и дитя.

– Слушай, как интересно.

– Ну да… это точней, кажется… Есть Бог, который делает. Так называемый Кракатук – в честь его наши вулкан у вас назвали.

– И еще орех.

– Ну да, потом орех… Богу действий поклоняются люди действий. Есть Бог, который думает, но не вмешивается. То есть у него как бы отдельно разум и чувства. Иногда берет верх одно, иногда другое. Это женская сущность, она успокаивает, проливает жир на волны, удерживает от резких движений.

– А называется как? Каракатица?

– Не кощунствуй, она называется Аделаида. Как известный мыс и соответствующая звезда.

– И внезапно в трубке завыло: «Аделаида, Аделаида»…

– Да, да. Именно так. Очень хороший стих.

– Он что, ваш?

– Бродский-то? Нет, ваш. Просто ему однажды по ошибке позвонили. Ошиблись номером. С тех пор он все думал, что Бог с ним разговаривает, а Бог понял, что его плохо слышно, и стал звонить по другим телефонам.

– А дитя? Дитя какого пола?

– Дитя еще не имеет пола, оно ребенок. Его зовут… сложный звук, такой лепечущий. Его очень трудно повторить в земных условиях.

– А у вас?

– У нас запросто, у нас тяготение меньше. Я тут знаешь, в первые дни как мучился? По-вашему это будет примерно… – Он приподнялся в кровати, вытянул шею и напрягся. – Ты-лын-гун, вот так примерно. Даже ты-гын-гун. Но это и у нас трудно произносится. Ему редко молятся поэтому. Да он, собственно, и не делает ничего. Это третья ипостась, она, как ребенок, все понимает, но ничего не может объяснить. Только плачет.

– Почему плачет?

– Ну, людей жалко… вообще всех жалко… Почему ребенок все время плачет?

– Есть хочет.

– Неправда, он иногда поест и все равно плачет. Ты же знаешь.

– Подуша в первый год вообще не плакала. Все умилялись, какой спокойный ребенок.

– Нет, просто очень деликатный. Наверняка она все понимала, но считала неприличным привлекать к себе внимание.

– Игорь, ты лынгун.

– В смысле?

– В смысле врешь все. Ты это сейчас импровизируешь или давно сочинил?

– Дура ты, Катя, и всегда будешь дура. Я тебя, как слетаем туда в отпуск, в храм свожу.

– А что, на всех троих один храм? На Кракатука, Аделаиду и Тыгынгуна?

– Да, они же в одном доме живут. В храме очень красиво, есть кухня, ванная, все как у людей…Большая комната… В центре колыбелька висит, в колыбельку можно записочку положить.

– И что, исполняется?

– Когда как. Он же читать не умеет. Лучше Аделаиду просить.

– Исполняется?

– Чаще нет… но просто становится ясно, что и не надо было.

– Интересно, ты обо мне просил?

– Зачем? Я же знал, что ты будешь. У меня все с детства так складывалось, чтобы тебя встретить. Много было всяких знаков, предвестий…

– Типа?

– Не скажу. Вы будете смеяться. Вы всегда смеетесь, у вас ничего святого.

– Игорь! Вот тебе крест!

– Ну, мелкие какие-то предвестия. Боги же тонко работают, не грубо… Например, идешь по улице, размышляешь о будущем – и вдруг вопль: «Ка-а-атька!».

– Почему?

– А это у нас так называется блюдо такое, вроде фруктового коктейля. «Ка-а-атька!». Ну, подойдешь, купишь, а потом подумаешь: не случайно все это, не случайно…

– Но ведь это и все остальные слышат! Если у вас так называется коктейль!

– Все слышат, да. Но о будущем в этот момент размышляю я один.

«Бля-а-ди!» – заорали внизу. – «Ка-азлы!».

Катька расхохоталась.

– Ты представляешь, – выговорила она сквозь смех, – ты представляешь, если кто в этот момент размышлял о будущем?

– А что, – сказал он, почесывая нос, как обычно делал в задумчивости. – Очень похоже на правду.

…Теперь она не убегала от него вот так, сразу: надо было как следует попрощаться, чтобы не рвать по живому. Они никогда не пили перед близостью, но после нее, перед расставанием, – почти всегда. Рядом с его домом была забегаловка без названия, вечно пустое кафе с поразительной дешевизной: меню всегда было одинаковое – рассольник, котлеты, омлет с горошком, две водки на выбор – «Флагман» и «Гжелка», – еще какая-то бормотуха и непременный «напиток», розовый, блеклый и на цвет, и на вкус. Они стояли там по полчаса, – денег на китайские рестораны уже не хватало, да и ни к чему было их тратить на китайские рестораны.

– Знаешь, почему тут такой тусклый свет? – спросил он однажды.

– Маскировка?

– Нет. Просто все эти люди – кассирша, бомж с бомжихой вон в углу, повариха тоже, – выловлены из Свибловских прудов, что на улице Нансена.

– В смысле покойники?

– Ну конечно. Ты заметила, что здесь цены, как пять лет назад? Теперь таких нет.

– Что, рассольник тоже… из покойников?

– Да нет, почему. Они нормально, честно работают. Просто человек, которого не устраивает текущая реальность, идет и топится в Свибловском пруду. Это место магическое, вроде Китеж-озера. После этого можно вернуться сюда, но уже в своем настоящем качестве.

– А иначе никак?

– Ну а как иначе? У вас тут нельзя просто так своим делом заниматься… Если хочешь быть самим собой и получать за это деньги – пожалуйста, Свибловский пруд.

– Ты хочешь сказать… что я тоже не своим делом занята?

– А ты хочешь сказать, что рисовать для таргет-групп и есть твое предназначение? Иллюстрировать статьи про MBA?

– Наверное…

– Нет, мать. Я о тебе лучшего мнения.

– И что мне теперь, в Свибловский пруд?

– Почему, не обязательно. Можно ходить сюда. После тридцатого посещения произойдут значительные подвижки.

– И «Офис» закроется?

– Может, и так, а может, еще что-нибудь откроется… Хотя, по совести говоря, вряд ли. Не такое сейчас время, чтобы открывалось что-нибудь…

– И что, после смерти попадаешь в забегаловку?

– Если всю жизнь хотел в ней работать, правильно кормить правильных людей, – да. А чего тут плохого? Может, кассирша всю жизнь была надзирательницей или вообще воспитательницей в детском саду, а ей хотелось приносить радость людям.

– А эти двое тоже хотели быть бомжами?

– Господи, да везде жизнь, – неожиданно громким и сильным голосом сказала бомжиха, обнимая бомжа.

Больше всего ее поражали теперь эти совпадения реальности с их мыслями и разговорами. После они еще немного погуляли по Свиблову – он показывал ей район; удивительно уютны были желтые и красные окна, она всегда больше всего любила смотреть на вечерние окна и еще на листву, зеленеющую в свете фонаря. И кое-где она еще зеленела – только горящие фонари попадались все реже.

– А это дом кружащегося мальчика, – сказал Игорь возле длинной серой семиэтажки, тянувшейся от метро до поворота на улицу Нансена.

– Какого мальчика?

– Такой особенный мальчик, я тебе его сейчас покажу. Но это ужасная тайна.

– Где он кружится?

– На втором этаже. Сейчас как раз… – Он взглянул на часы. – Он обычно с семи до десяти. Так что все увидишь.

Они дошли до середины дома.

– Отойдем, а то не видно… Лучше всего с другой стороны…

Они перешли Снежную. На втором этаже, прямо над козырьком третьего подъезда, светилось окно, слева и справа темнели два тусклых квадрата.

– Он, по-моему, один живет. Там должна быть двухкомнатная квартира, но ни в другой комнате, ни в кухне света нет. Сейчас, погоди.

Пока смутно виден был только желтый шкаф, дешевый, из ДСП. Мальчик появился неожиданно. Он плавно протанцевал из глубины комнаты к окну, покружился с высоко поднятыми над головой руками и отвальсировал обратно, к невидимой противоположной стене.

– Что он делает? – испуганно спросила Катька.

– Не бойся, пожалуйста. Он хороший, безвредный мальчик, ыскытун. Просто танцует.

– Что, учится?

– Не знаю. Я уже довольно давно тут жить, иногда прогуливаться от страшное одиночество. Смотреть окна, изучать реальность. Пять месяцев уже.

– А до того где был?

– Неважно. – Мальчик опять появился в окне, и Катька заметила, что волосы у него на голове темные, кудрявые и какие-то высокие, как – читала она – бывает у запущенных душевнобольных, не дающих прикоснуться к своей больной голове. Они стояли вертикально, как колтун – или как будто поднялись от внезапного испуга. Лица мальчика не было видно, и вообще Катька не понимала, с чего Игорь решил, что это мальчик. Может быть, вполне взрослый мужчина. Но худоба, стройность, грация движений заставляла предположить, что он действительно юноша, почти подросток. Вот он опять удалился и опять подтанцевал к окну, и показалось даже…

– Слушай, он не кивнул нам сейчас?

– Нет, он всегда в этом месте отвешивает полупоклон.

– Господи, что же он делает?! Давай, может быть, поднимемся к нему! Я боюсь. Никогда такого не видела.

– А не бойся. Развлекается человек, у каждого свои причуды.

– Может, он кому-то тайные знаки подает?

– Да. Шахидам. Помешались все на тайных знаках…

– Почему шахидам? Может быть, одиноким космическим скитальцам, которые летают к нам вроде тебя… он для них не гасит света…

– Нет, это вряд ли. Мы по телевизорам ориентируемся. Телевизор легче запеленговать.

Они еще несколько раз ходили смотреть на мальчика, и Катька один раз чуть не решилась подняться к нему, но в последний момент робела.

– Мне кажется, это все-таки болезнь, – неуверенно сказала она.

– Ну, если и болезнь, то не худшая. У нас с тобой, может быть, тоже болезнь.

– Конечно, – кивнула она. – Со стороны, наверное, без слез не взглянешь: гуляет какой-то дылда с козявкой, иногда они слипаются ртами…

…Она хорошо запомнила этот вечер – двадцать пятое октября; а двадцать седьмого случился тот разговор.

Начиналось все невинно – они ехали к Игорю из «Офиса», отпустили в четыре, у менеджмента случилась корпоративная вечеринка по случаю дня рождения бухгалтерши, и творческие сотрудники, которых на праздники менеджмента никогда не звали, слава тебе Господи, – получили вольную двумя часами раньше. Добирались на метро. Игорь листал свежий номер.

– Слушай! Какая прелесть!

– Что ты там нашел?

– Радикальное средство очистки организма. В течение шести часов – полное промывание желудка с одновременным его массажем. Представляешь, как они там сидят все… на креслах… все крутые, потому что стоимость процедуры – две наших зарплаты… Обсуждают, вероятно, перспективы российской экономики. Что-нибудь между собой трут. Ты замечала, кстати, что у них речь без существительных? Проплатить, отгрузить, потереть? Это у вас для конспирации так делается – или просто все происходит в пустоте?

– В пустоте, конечно. – Катька была усталая и грустная, и говорить ей не хотелось. Она даже злилась на Игоря, пытавшегося ее худо-бедно развеселить: шутить и век шутить – как вас на это станет! В конце концов, у него не было ни Подуши, ни Сереженьки, он никого на себе не тащил – чистый инопланетянин, человек ниоткуда…

– Вот. Они сидят, и тут тревога… Представляешь? В здании бомба. А они все – на этих клистирах, а? Как они с них пососкакивают и побегут!

Катька против воли улыбнулась.

– Ну ладно, – сказал он с неожиданной злостью. – Надо серьезно поговорить. Сама видишь, шутки кончились.

– Шутки давно кончились, – кивнула Катька, испугавшись на миг, что он затеет сейчас мучительный разговор об уходе к нему, – а бросать Сережу в таком состоянии нельзя ни в коем случае, – или предложит ехать к мужу вместе, говорить, разбираться… этого ей сейчас хотелось меньше всего. Она вообще ничего не могла теперь выдержать, из-за любой ерунды ревела и по-настоящему хотела одного – улечься с ним в родную свибловскую кровать, уткнуться, лежать молча, ничего не видеть и ничего не делать; может быть, даже спать. А вечером ехать назад. Слава Богу, завтра суббота, и можно, стало быть, выспаться… навести порядок дома, погулять и почитать с Подушей, а потом, может быть, часа на два… просто на Воробьевых или где еще… под предлогом Лиды, неважно, придумаем.

– Наверху, а то шумно, – сказал он.

– Может, не надо? У нас так все было складно без выяснений…

– Я ничего не собираюсь с тобой выяснять, Кать. Я не зверь, мне все видно.

Он ее обнял, и так они достояли до Свиблова. Против обыкновения, он не тащил ее к себе, а повел в ту самую забегаловку, где и вечером пятницы не было почти никого. Взяли все тот же рассольник, котлеты с макаронами, две порции «Гжелки» по сто и розовый неизвестный напиток.

Выпили без тоста, некоторое время молча ели.

– За нас, не чокаясь, – сказала Катька.

– Не глупи.

Он доел рассольник и вытер рот салфеткой.

– Значит, Кать, – сказал он буднично и тускло, совсем не так, как начинал обычно свои истории. – Что делается, сама понимаешь. Надо сваливать.

– Игорь, у меня каждое утро с этого начинается. Если только он просыпается до моего ухода. Просыпается и вместо «доброго утра» говорит: «Надо валить». Тупо глядя в пространство, куда, видимо, предлагается валить.

– Да? И куда он хочет конкретно?

– Он не знает. Вообще у него есть какая-то еврейская родня, почти мифическая, по-моему… Свекровь намекала, что его папа был еврей. Они же не регистрировались, документов нет, но он уверен, что можно найти. И тогда его возьмут хоть в Израиле, хоть в Германии, а меня и Польку с ним.

– Нет. Я тебе предлагаю не туда.

– А куда? В Полинезию?

– Не-а.

– Ну, не томи.

– Ты девочка догадливая, сама поймешь.

– Не пойму, Игорь. У меня от ранних пробуждений ум набекрень, ты же видишь.

– Там двадцать слогов, Кать. Утомишься говорить.

– То есть к тебе домой? – проговорила она в некотором отупении.

– Да, да.

– Ну так мы туда и идем…

– Катя, ты прикидываешься, что ли?

Конечно, ее сбила с толку эта непривычная серьезность.

– Извини, милый. Я думала, мы действительно не шутим.

– Мы действительно не шутим, – сказал он и посмотрел на нее так, как не смотрел еще ни разу: так, по ее представлениям, должен инструктор по парашютному спорту подталкивать взглядом новичка.

Для издевательства это было слишком.

– Так, – сказала она.

– Именно так.

– Игорь. Честное слово, я очень устала.

– А уж я-то как устал, – выговорил он тем же тяжелым голосом, каким, бывало, пародировал комиссара-поэта. – Чрезмерное тяготение. Грязь. Террор. Невежество. Менеджеры среднего звена. Рос среди приличных людей. Аристократ. Любое требование – в ту же секунду. Дурык в постель. И что у меня здесь? Ничего, кроме дурык в постель, и этой дурык я не приношу ничего, кроме отчаяния. Летим, Кать. Я совершенно серьезно.

– Это такое предложение руки и сердца?

– Я могу взять пять человек, – сказал он другим голосом, деловито. – Больше пяти никак. Она не взлетит.

– Кто? Тарелка?

– Ну, назови тарелка. Хотя они мало похожи. Просто галлюцинации чаще всего бывают у домохозяек, вот им и мерещатся тарелки. Хорошо еще, что не веники. Тарелка на самом деле неудобна по форме, она плоская. Летательный снаряд должен быть узкий и высокий. Да увидишь.

– Возьми еще водочки, – попросила Катька.

– Зачем?

– Ну, может, поверю… Ты так рассказываешь…

– Я ничего не рассказываю, – сказал он. – Ты вообще ни хрена не понимаешь. Если бы ты знала то, что я знаю…

– И что ты такого знаешь?

Он отошел за водкой и принес еще два раза по сто.

– Что я знаю, это мое дело. Я и так тебе больше, чем надо, говорю.

– Слушай! – От водки Катька повеселела, ей стало тепло. – Ты меня так уговариваешь… прямо Сохнут. Я читала. И люди другие, и небо другое…

– Да, типа. Только в нашем смысле «восхождение» несколько буквальней, ты не находишь?

– Ага, а потом вы нами питаетесь. Там, наверху. Точно, я все придумала! Выжидаем кризисный момент, создаем на земле панику, а потом говорим: пожалуйста, уезжайте. Эвакуация. Черт, разве плохой сюжет? Мы там, наверное, дефицитное лакомство. Вроде икры. За нас дают два, три зверька, за толстый человек – четыре зверька! Понимаешь, почему во время войн многие пропадают без вести? Это ведь ваши работают, так? Любимый! Дай слово, что ты съешь меня лично! А интересно, у вас это живьем? Там, у вас, ты, наверное, выглядишь совсем иначе?

– Да, – кивнул он серьезно, – немного иначе.

– Такой типа комар, да? Вонзаешь… и все высасываешь!

– Вонзаю, – согласился он.

– Но я хотя бы съезжу для начала на краткую экскурсию по вашей райской местности?

– Пять человек, – повторил он, не желая поддерживать игру. – И ни человеком больше.

– Вот всегда так, – сказала она грустно. – Когда ты придумываешь, я всегда подхватываю. А когда я придумываю, мы все равно продолжаем играть в твою дурацкую игру. Доминирование любой ценой. Пожалуй, я не дам тебе меня съесть. Пусть меня лучше съест кто-нибудь умненький, хорошенький…

– И у нас только неделя, – продолжал Игорь.

– Господи, ну почему неделя!

– Потому! – крикнул он, и кассирша обернулась в испуге, оторвавшись от газеты чайнвордов «Тещинька». – Ты же всегда все понимала, почему ты сейчас не понимаешь!

– Нет, я все понимаю. Жестокое время – жестокие игры. Просто мне не хотелось бы играть в «Спасение пяти», понимаешь? У меня уже и так две кандидатуры, которые вряд ли тебя устроят, и это совершенно не игрушки.

– Дочь не в счет. Три года… сколько она весит? Килограммов пятнадцать?

– Двенадцать. Муж тоже сравнительно легкий.

– А мужа мы обязательно берем?

– Мужа, – зло сказала она, досадуя на упрямство и бестактность любовника, – мы берем обязательно, и это не обсуждается. Я не понимаю, почему мы должны продолжать этот дурацкий разговор, и лучше поеду домой.

– Катя! – сказал он таким измученным голосом, что у нее сразу прошла вся злость. – Кать, хочешь, я на колени встану? Ну пойми ты наконец, что началась жизнь!

Это было так забавно, – до сих пор была не жизнь, а тут возникла летающая тарелка и реальность подошла вплотную, – что Катька улыбнулась и поцеловала его в небритый подбородок.

– Игорь, ты сделал все, как надо. Я на какой-то момент действительно отвлеклась. За что я тебя люблю, знаешь? Нет, мы никогда не говорили об этом всерьез, но сейчас все можно. Я даже никогда тебе не признавалась в любви. Мужу, кстати, тоже не признавалась, и никогда не признаюсь. Игорь, я тебя люблю! Я так люблю тебя! Главным образом за то… это ведь все вранье, что любят просто так. Любят всегда за что-то. Я сейчас пьяная, пользуйся случаем, земная женщина рассказывает тебе всю правду о своем внутреннем устройстве. Любят тех, с кем нравятся себе. Любят тех, с кем можно быть хорошей, и умной, и повелительной, и жертвенной, и главное – что все вместе. У нас такой есть направлений в искусстве, быть пуантилизм. Точечка тут, точечка там. Я быть молодая, глупая, очень увлекаться.

– У нас тоже это быть, – сказал он. – Тыды-кырлы.

– Да, да, правильно! Туда-сюда! И вот тебя я люблю за то, что с тобой можно столько всего пережить в единицу времени! Усталость, злость, страсть, восторг, испуг, раздражение, нежность, да, друг мой, такую нежность – я, кажется, сейчас всю эту забегаловку приняла бы в себя и поместила куда-то в вечное тепло! Я могу с тобой быть высокопарна. Не беспокойся, это пройдет сейчас. Но учти, я художник, я человек ис-кус-ства! Обрати внимание, я никогда тебя не рисую. Я столько раз пыталась это делать, но ты же как ртуть.

– Нас учат, – сказал Игорь.

– Чему?

– А вот этому. Незаметность в толпе, смена масок. Я разведчик-эвакуатор, хочешь ты этого или нет.

– Да, да, конечно! Ты разведал меня и эвакуировал, и я два месяца прожила в твоем дивном новом мире, со зверскими деньгами! Ты столько всего придумываешь, я так тебе благодарна. Не сердись, милый, что какие-то твои игры я поддерживать не в состоянии, потому что у меня есть муж и дочь, и это очень взрослая жизнь. Как все художники, я была и буду ребенком и готова с тобой играть в любые игрушки относительно меня, но не пытайся сочинять мне сюжеты про Сереженьку и Подушеньку, съемка окончена, всем спасибо! – Она снова чмокнула его, на этот раз в глаз. – Мой миленький глазик, такой красненький.

– Я тебя тоже очень люблю, – сказал Игорь. – Я так тебя люблю, что даже тебе верю. Хотя у наших есть правило никогда не верить вашим.

– Это еще почему? Я могу обидеться.

– Да обижайся сколько влезет. Просто ваши рано или поздно обязательно предают наших, и я слишком хорошо знаю, как это бывает.

– Может, ваши сами сбегают? Когда все становится серьезно?

– Это точно, – кивнул он. – Когда у вас все становится серьезно, нам тут делать больше нечего. Вам, впрочем, тоже. Но вашим как раз очень нравятся эти ситуации. Можно такое себе позволить – мама дорогая!

– Пошли к тебе. Пожалуйста, пошли к тебе. Еще немножко, и я перейду на следующий уровень. Мне станет очень-очень грустно, я буду реветь. Потом мне станет очень-очень зло. А сейчас я очень-очень хороша для тыбыдым, я гожусь для этого в высшей степени.

– Катя, – он взял ее за плечи и встряхнул. – Катя, детка. Сегодня не будет никакого тыбыдым. У меня теперь очень, очень много работы. Ты же видишь, я в «Офисе» почти не появляюсь. Только тебя забираю.

– Почему не будет тыбыдым? – захныкала Катька. – Ты не смеешь у меня отбирать единственную радость… дурык…

Она слегка поколотила его маленькими твердыми кулачками.

– Ты что, только в процессе тыбыдым теперь можешь нормально разговаривать?

– Не знаю. Пойдем к тебе, а? На нас уже смотрят. Ну пойдем, пожалуйста, я так люблю, когда у тебя… Не хочешь тыбыдым – не надо тыбыдым, просто посидым…

В этот раз все было удивительно грустно. Катька гладила его затылок, тощую спину с выступающими лопатками, костлявые плечи, почти безволосую грудь, целовала в глаза и брови и вообще чувствовала себя так, будто прощалась навеки. Все было очень нежно, медленно и бессловесно.

– Правда, будто навек, – сказала она наконец. – Ужасная вещь расставаться навек, никому не пожелаю. Ведь ты не улетишь без меня?

– Нет, – сказал он глухо, – я не улечу без тебя.

– Нет, лучше лети. Я эгоистка. Я не имею права тебя задерживать, ты здесь погибнешь. Наши пертурбации не для вашей конституции. Скажи, а никак нельзя там пересидеть страшное – и вернуться?

– Никто еще не возвращался, – сказал он.

– Это я знаю. А почему?

– Не знаю. Я вот курсирую туда-сюда, и мне тоже трудно, но я еще кое-как могу. Потому что я там вырос, и мне слетать в ваш ужасный мир – не такое уж испытание. А ваш человек вырос здесь, и когда он попадает туда – для него мысль о возвращении уже совершенно невыносима. Ну как… с чем бы сравнить? Надзиратель, допустим, может жить дома и каждый день ходить в тюрьму и обратно. А заключенный, если освободится, никогда уже не вернется в тбрьму, по крайней мере добровольно.

– Но если он там у вас чего-нибудь начудит, его же вернут насильственно?

– Было несколько раз. Они потом называли себя «духовидцы». Рассказывали ужасные глупости про какие-то дома в тридцать локтей, про золотые комнаты… Жуткие шарлатаны, эвакурированные по ошибке. У нас каждый такой случай в учебниках разбирается. А тут на этих духовидцев чуть не молились, каждому слову внимали… Как можно верить людям, которых сослали обратно на Землю? Это же как блядь, которую выгнали из блядского общества за блядство! А нормальный человек по доброй воле сюда сроду не вернется…

Словно подтверждая ее слова, за окном что-то бухнуло.

– Выхлоп, – успокаивающе сказал он.

– Нет, – медленно проговорила Катька, – не выхлоп.

– Если я говорю, значит, знаю! – крикнул он неожиданно. – Почему ты не хочешь понять!

– Тише, тише… Маленький, я все поняла.

– Ты ничего не поняла, и никогда не поймешь. И черт с тобой, я пойду против всех инструкций. Завтра в три включи телевизор, тогда, может, и до тебя дойдет.

– В три? – Катька села на кровати. – Ты же знаешь, в три ничего не говорят…

– На этот раз скажут. И пусть потом со мной делают, что хотят, – я вообще не могу в таких условиях работать, если никто не верит ничему… Растлили всех к чертовой бабушке, ни одно слово ничего не весит! Пока носом не ткнешь…

Катька похолодела. До нее наконец дошло.

– Игорь! – сказала она и закашлялась: в горле сразу пересохло. – Если ты что-то знаешь и ничего не делаешь…

– Да делаю я, делаю!

– Что же ты мне сразу не сказал… Мы тут с тобой… а там действительно…

– Ну а что я могу! – Он рывком поднялся и сел рядом. – Мы же не знаем, где… когда… Это не моя специальность. Внедряемся, пытаемся что-то… а разве тут сладишь? Ты думаешь, это единая организация? Это даже не сетка, а так – тыды-кырлы. Здесь рвануло, там рвануло… Я даже не представляю, где это завтра будет. У меня просто подсчет… примерный…

– Квадрат свиномарок плюс шестьсот шестьдесят шесть.

– Нет, сложней. Но то, что завтра все войдет в последнюю стадию, – это и без расчетов в принципе понятно, просто я не все тебе говорю. Завтра сиди, пожалуйста, дома. И своих никуда не выпускай.

– Ты серьезно?

– Абсолютно серьезно. Я бы и так тебе сказал. А потом быстро отбирай пять человек и готовься. На отборы, сборы, прощальные приготовления – неделя. После чего старт. Или сдохнем все.

– Ты хочешь сказать, что без меня не полетишь?

– Именно это я и хочу сказать.

– Так нечестно.

– А у меня нет вариантов. Иначе тебя не сковырнешь.

– Погоди. А нет у тебя предположений… ну, хотя бы относительно… Может, что-то можно остановить?

– Остановить нельзя ничего, – хмуро сказал он. – Иначе давно бы само остановилось. Шарик уже покатился, хочешь не хочешь. Не сердись, Кать. Я правда не все могу. Мы вообще избегаем вмешиваться, ты знаешь. Всякое зло – оно копируется очень легко, легче, чем думаешь. Шаг – и ты вовлечен. А нам это нельзя, кудук.

– А увозить можно?

– А увозить можно, кыдык. Я же не всех беру. Всех бессмысленно.

– Но подумай, как я могу на это пойти? Чем я лучше других?!

– Ничем не лучше. Я тебя люблю, и все. У нас в таких случаях доверяют эвакуатору.

Дороги домой она не запомнила. Болело все тело, и настроение было хуже некуда – то ли она заболевала, то ли устала, то ли будущее давило на нее всей тяжестью. Она знала за собой эту способность физически предчувствовать худшее. Предположим, что все игра, хотя и совершенно бесчеловечная. Но на секунду, на полсекунды допустим, что нет! И тогда – как жить, если знаешь, что завтра… Но живем же мы, зная, что завтра кто-то попадет в автокатастрофу, кто-то не проснется, кто-то, как пелось у Цоя, в лесу натолкнется на мину, следи за собой, будь осторожен! Живем же мы как-то – только в самолете вспоминая, что смертны? Черт бы его драл с его выдумками, предупреждала меня мать, что в конце концов обязательно доигрываешься.

4.

– Ну? – только и сказал он.

Катька подняла на него зареванные глаза.

– Если ты придешь сам, – сказала она, – ничего не будет. Честно. Они же сказали – если кто-то придет сам, отпустим. На Библии клялись.

Игорь скривился, как от зубной боли.

– Да, – процедил он. – Надо было мне, дураку, думать…

– Ничего! Честное слово, еще можно… ты знаешь, все еще можно…

– Ты что, совсем? Вот же блин, как же я не учел, что ты именно так и подумаешь… Все эта подлая земная логика, когда же я этому выучусь, в конце концов!

Катька на секунду понадеялась, что все не так страшно, но тут же отбросила надежду – теперь ведь понятно. Эта версия объясняла все, с самого начала.

– И ты действительно думаешь, что я один из них?

Она быстро, жалобно закивала.

– Работаю под прикрытием «Офиса»?

– Черт тебя знает, под каким ты прикрытием. Ты мне поэтому и в компьютер не разрешал лазить.

– Идиотка! – простонал Игорь. – Господи, ну если уж ты такая идиотка – чего тогда про остальных?! Что за раса подлая, каиново семя, как вы еще живы, я вообще не понимаю! Ты спала со мной два месяца, рассказывала мне все про себя и семью, говорила, что ближе меня у тебя нет человека! А потом, когда я тебя предупредил, чтобы ты сидела дома, – ты за полчаса поверила, что я шахид!

– Не шахид, – затрясла она головой.

– Ну еще хуже! Вообще профессор Мориарти, черная Фатима, организатор, все нити заговора, мозговой центр! И все легло в эту версию – и то, что я тебя в компьютер не пускал, в игрушечки поиграть, и то, что знал про вокзалы, и то, что на работу редко хожу! Катя! Катя, ты видишь себя со стороны хоть на столько?! Ты же… блин… ты же говорила, что дышать без меня не можешь!

– Да, да, – Катька ревела, кивала и тряслась.

– И как это все у тебя смонтировалось?

– Игорь, родненький… ну как же ты не понимаешь… ну ведь это не злодеи, хотя они и убийцы, и все такое. Они просто мстят… и почему я не могла бы одного из них полюбить?

– Не злодеи? Ты это говоришь после всего… после этого?!

– Ну, я в том смысле, что они другие… не такие злодеи… не ради бабок же, в конце концов! Они просто не люди, это совсем другое дело. Ну вот и ты… я ведь тоже не совсем человек, я урод, я никогда не могла полюбить просто человека! Из-за этого всегда и мучаю всех…

Она заревела в голос. На них оглядывались. Впрочем, плакали в тот день многие, – Москва уже привыкала к истерикам на улицах, и к битью головой об асфальт, и к расцарапыванию лиц, но этого было как раз немного. Все-таки не Владикавказ, не Беслан. К чему нельзя было привыкнуть – так это к понурой, молчаливой толпе на улицах, к людям, шедшим на работу и в магазин, как на заклание. В них была такая обреченность, которая хуже любой истерики. Все ждали, что с ними случится еще что-то подобное, и ничему не удивлялись; странным образом каждое новое потрясение только глубже вгоняло их в безвыходный, тяжкий сон.

– И ты решила, что я один из них?

– Ага.

– И по вечерам трахаюсь с тобой, а по ночам взрываю других русских?

– Ага.

– И кто бы я был после этого?

– Чеченец.

– Ка-тя! Да неужели по человеческим меркам не следовало бы заживо зажарить такого борца, который вечером спит с русской женщиной, а ночью взрывает ее братьев?!

– Следовало бы.

Она соглашалась, не понимая, что говорит. Ее здорово колотило.

– Черт, и не пойдешь никуда… Ка-тя! Ты что, всерьез предлагала мне сдаться?

– Ага, ага. Да.

– Да очнись ты!

– Не могу. Игорь, две тысячи человек… две тысячи… ты понимаешь? Никогда столько не было, нигде… Хотя в «близнецах», кажется, было… Игорь, ну как так можно, а? Игорь, если ты знал и не сделал ничего, то как так можно, а?!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.